

ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН

военные романы об Афгане 



В двух шагах от рая

Михаил Евстафьев

Михаил Александрович Евстафьев

В двух шагах от рая

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146799

Михаил Евстафьев. В двух шагах от рая: Эксмо; Москва; 2014

ISBN 978-5-699-70481-1, 978-5-699-24141-5

Аннотация

Лейтенант Шарагин служил в Афгане, служил в надежде остаться в живых, уцелеть для молодой жены, для детей, родителей, которые ложились спать с молитвой о нем; служил в охотку и поневоле, служил, потому что любил свою Родину, твердо убежденный в том, что она, пославшая его на войну для выполнения «интернационального долга», никогда не предаст. Увы, это убеждение умерло вместе с ним. Но когда? После возвращения домой? Или гораздо раньше, срезанное пулей в раскаленном, как жаровня, ущелье?.. Прочтите, прислушайтесь к себе. Это одно из самых сильных произведений об Афгане. Это по-настоящему русский роман.

Содержание

Глава 1. Десантура	8
Глава 2. Зараза	14
Глава 3. Панасюк	21
Глава 4. Чистяков	31
Глава 5. Епимахов	44
Глава 6. Агитотряд	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Михаил Евстафьев

В двух шагах от рая

*Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не
страшится сердце сынов человеческих делать зло.*

Екклесиаст, глава 1

Напрасно вокруг себя печальный

взор он водит:

Ум ищет божества, а сердце

не находит...

Во храм ли Вышнего с толпой он

молча входит,

Там умножает лишь тоску души своей...

А.С. Пушкин «Безверие», 1817 г.

... Саид Мохаммад лежал на снегу. С головой завернувшись в одеяло, он трогал законченными пальцами обмороженные ноги и скулил, как щенок. Саид Мохаммад не хотел так умирать.

Прошло несколько дней с тех пор, как покинул он разрушенный бомбардировкой кишлак. Удивительно, что он до сих пор жив, что не замерз прошлой ночью. Особо морозная выдалась ночь. Значит, так угодно Аллаху!

Потрескавшимися губами он зашептал: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного!»

Прав оказался «Панджшерский лев», мудрый Ахмад Шах Масуд, нельзя верить шурави. Обещали русские уйти насовсем из Афганистана. Ахмад Шах дорогу на север открыл, пожалуйста, «буру бахай!». Убирайтесь восвояси! Моджахеды ни единого выстрела не произведут! Ни одного неверного не тронут. Зачем же тогда русские обрушили напоследок на бедный Афганистан бомбы и снаряды?

Он не пошел с отрядом, а направился в родной кишлак проведать семью.

Уже показались огоньки керосиновых ламп. Два огонька. Один, что левее, светил из окна их дома. Второй огонек – соседский. В других семьях на лампы и на керосин денег не тратили. И тут начался авианалет.

Без сознания пролежал он всю ночь. И хорошо, что не очнулся раньше. Иначе услышал бы доносящиеся из-под развалин жилищ истощенные стоны, а среди них – голосок младшей сестренки, придавленной глиной и камнями. Когда он очнулся, в ушах шумело, будто рядом протекала бурлящая горная река.

К вечеру стоны прекратились. Хоронить никого надобности не было.

Русские всех похоронили. Заживо. Шатаясь, обошел Саид кишлак, превращенный в одно большое кладбище. Сперва все же надеялся хоть кого-нибудь отыскать живым, раскопать, вытащить. Тщетно.

Оставаться в уничтоженном кишлаке больше было незачем. Саид поднял мерзлую лепешку, откусил, пожевал, припрятал на потом и, прихрамывая, спустился по протоптанной в снегу тропинке к дороге. Обернулся. Когда он уходил отсюда в первый раз, перед домами, лесенкой построенными на склоне, стояли люди, а на плоских крышах – детишки, и все тогда смотрели ему вслед, провожая в дальнюю дорогу, на войну. Теперь его уже никто никогда не встретит и не проводит.

Саида никто не придет искать и из отряда, да и кто поверит, что после такой страшной бомбежки кто-то в кишлаке мог выжить?

«Калашников» с полным магазином, слава Аллаху, цел. Но выстрелить в себя Саид не решался.

Он надеялся повстречать моджахедов, добраться до какого-нибудь кишлака или, на худой конец, выйти на шурави, принять бой и расквитаться за семью. Но где они теперь, эти русские? Ноги совсем не слушались, Саид часто падал, полз по снегу.

Так и замерзнет он в горах, так и сгинет весь их род, неотомщенный.

Почему не погиб он в последнем бою, почему сразу не попал в рай? Саид Мохаммад – настоящий мусульманин, он чтит Коран, он пять раз в день совершает намаз, который год уже он воюет против неверных и потому знает, что моджахеду нечего бояться, что священная война – джихад – прямая дорога в рай. Так всегда говорил Али, старший брат.

Али вернулся из Пакистана совсем другим человеком. Не нищим, забитым деревенским пареньком в калошах, а возмужавшим, в кожаных ботинках на шнурках, в новой одежде, с автоматом, с пачкой афгани, с лазуритовыми четками в руках. Какие это были четки! Казалось, полированный камень впитал всю синеву и глубину афганского неба. Али отгрызал по кусочку сахар, запивал чаем и, перебирая четки, рассказывал про Пакистан, про джихад, про Ахмад Шах Масуда, про кровавый режим в Кабуле, про ненавистных шурави, решивших поработить Афганистан.

Со временем Али возглавил целый отряд, его уважали, побаивались. Много хлопот доставил неверным Али, а прежде чем погиб, многих русских солдат на тот свет отправил. Погиб Али как настоящий герой – в бою. Сначала улизнул он от русских, вывел отряд из окружения и успел еще вдогонку русским послать привет от Аллаха – отрезал отходящую группу, потрепал как следует. Всех бы вырезал, не приди русским подмога. Артиллерия спасла русских. Али стал мучеником и, значит, сразу попал на небеса.

И Саид Мохаммад последует за Али. Если ему не суждено дожить до своего пятнадцатого дня рождения, он погибнет как мученик.

Война – это хорошо. Что была бы за жизнь без войны? Кроме родного кишлака, ничего бы не увидел он, работал бы целыми днями, голодал, болел.

Война принесла много горя Афганистану, и война же сделала Саида моджахедом, воином Аллаха!..

Он еще сопляком был, когда Али взял его в отряд.

... Автомат сильно отдавал в плечо. Разве удержишь его детскими руками!

Нелегко соперничать со взрослыми. Пули не достигали цели, ныряли в пыль. Позор! Обидно! До слез обидно. Над ним можно только смеяться. Неужели он и в этот раз никого не убьет? Вон же они, русские солдаты, так близко! Больше не отстреливаются. Патроны кончились. Удирают из кишлака. Моджахеды стреляют четко, с разных сторон. Одного уложили, второго. Третьего сейчас убьют, и тогда закончится веселье. Надо спешить! Саид Мохаммад нашел упор, взял третьего шурави на мушку, выстрелил и – о, слава Аллаху! – подранил в левую ногу. Наконец-то! Да, именно его пуля догнала солдата. Сомнений нет!

Солдат упал, но поднялся и заковылял дальше. По команде Али моджахеды прекратили огонь, оставили солдата Саиду Мохаммаду. Твоя добыча! Далеко не уйдет. Кончай его! Поднялись из укрытий моджахеды в полный рост, визжат от восторга, как дети. Отличное веселье – по подраненному пострелять! Неверного убить – святое дело!

«В спину целься, – посоветовал брат. – Попал! Молодец!» Будто плетью хлестнули убегающего по спине. Следующий выстрел заставил солдата прижать к телу правую руку – обожгла пуля. Навылет, видимо, прошла. Еще и еще целился Саид Мохаммад, еще и еще раз стрелял. Живучий попался шурави, никак не хотел умирать. Упал, поднялся, пошел.

Очередная пуля солдата почти сразила – казалось, кончили его, так нет – покорчился и пополз. Пригвоздил его решающий выстрел. Тут уж замер солдат.

«Пойдем!» Саид Мохаммад засверкал счастливыми глазами, гордо повесил автомат на плечо, послушно последовал за братом. Солдат лежал на животе. Из ноздрей текла кровь. Лицо и курчавые черные волосы, и смуглую кожу, и гимнастерку с пятнами крови припорошила пыль.

«Хорошо стрелял», – похвалил брат, поднимая автомат убитого. Саид Мохаммад поймал поощрительные взгляды других моджахедов. «Отрежь ему палец, – брат протянул большой нож. – Твой первый шурави».

Саид Мохаммад обошел мертвого, присел над головой солдата, нагнулся, приподнял левую руку, расправил пальцы, выбрал указательный, приложил нож к середине, надавил, но лишь надрезал кожу.

Острие ножа ушло в землю. Силенок не хватило. Саид Мохаммад надавил сильней, косточка хрустнула...

На перевал опустился туман, поднялась метель. Шапочку из верблюжьей шерсти и одеяло покрыл снег. Снежинки лежали на густых черных бровях, длинных ресницах и едва наметившихся усиках. Через час-другой его занесет снегом.

С завываниями снежной бури теперь соперничал пугающий гул. Ужас сковал Саида Мохаммада. Вертолет! Неужели русские прилетели, чтобы добить тех, кто остался в живых после бомбежки? Неужто знают о нем, что жив еще он? Откуда?

Почему шурави так ненавидят афганцев? Зачем вообще пришли они в Афганистан?

За что столько лет убивают и пытаются мусульман? В плен он не сдастся, он знает, что делают русские с пленными!

... Несколько лет назад точно так же от надвигающегося вертолетного грохота Саид Мохаммад вдавил голову в плечи, сощурился, затрясся. Издалека те «вертушки» напоминали стаю черных птиц – страшных, беспощадных к моджахедам. Он приготовился бежать, чтобы спастись, скрыться, зарыться, исчезнуть. Али удержал за руку, и они спрятались в пересохшем арыке, украдкой поглядывали на заполонившие небо винтокрылые машины и видели в бинокль, как сели за кишлаком шурави и как выбежали солдаты и заняли оборону.

Главного среди шурави – высокого, грузного, немолодого генерала в пятнистой форме, походившей на зелено-коричневые узоры на вертолетах, – встречали старейшины. Они кланялись, будто он царь и бог, и лебезили перед ним, а после переговоров выдали трупы убитых советников, а заодно и повинных в гибели советников моджахедов. Вышло все точь-в-точь, как предсказал Али. А что им оставалось делать? Шурави грозили нанести по району бомбо-штурмовой удар.

«Смотри, – кивнул брат и произнес слово, от которого всякого моджахеда передергивало, – спецназ». Саид впился в бинокль. Солдаты как солдаты. Ничего необычного. Те же автоматы, те же русые волосы. Отчего ж тогда так бояться и ненавидят моджахеды этот самый «спецназ»?

Пока ждали генерала, одному из пленных моджахедов развязали руки, положили перед ним заряженный автомат.

– Бери, сволочь!

Они с братом лежали слишком далеко, чтобы слышать, что говорил спецназовец, да и не поняли бы чужую речь, даже если и находились бы ближе.

Видели только перекошенный рот офицера. Поджарый, в кроссовках, бежевых брюках и бежевой же куртке с закатанными рукавами, открывающими наколки на руках, он отступил назад, указывая на автомат.

– У меня только нож. И тот нарисованный. – Спецназовец напряг руку, показывая вытаюрованную финку. – Бери! – Он пододвинул ногой автомат ближе к пленнику. – Ссышь?

Сидевший на корточках афганец не сводил глаз с «калашников». Последний шанс, ему дали шанс отыграться! Исподлобья косился моджахед на шурави и скалил неровные желтые зубы, и, когда офицер отвернулся, естественно, так, будто и забыл про предложенное пленнику оружие, вроде отвлекся на облетающий район вертолет, пленник решил. Но спецназ не столь глуп, чтобы позволить бестолковому афганскому крестьянину перехитрить себя! Офицер удовлетворенно хмыкнул, когда стоявший наготове за спиной у афганца солдат грохнул рыпнувшегося пленного по голове прикладом.

– Хотел убежать, душара? – Офицер ринулся к поднимающемуся пленнику.

– Отставить!

– Попытка к бегству, товарищ майор, – оправдался спецназовец с татуировками перед старшим по званию офицером в темных очках.

– Вылетаем!

Замесили горячий воздух лопасти, одна за другой отрывались машины и потянулись стайкой прочь. И тогда спрятавшиеся Саид Мохаммад и Али привстали, отряхнулись и, не сговариваясь, вздрогнули, когда от летевшего чуть правее вертолета вдруг отделилась фигурка человека и камнем полетела вниз...

Совсем рядом с замерзающим Саидом Мохаммадом кружило это проклятое русское вертокрылое чудище, угрожающе рядом. Он скинул одеяло и щелкнул предохранителем. «Нет бога, кроме Аллаха, и Мохаммад – его пророк!» Вот оно, ниспосланное с небес испытание! Шанс отомстить за брата, за родных, за себя.

Гул нарастал. Ему казалось, что все дрожит, как при землетрясении. Нет, вертолет не знал о нем, не мог знать. Вертолет явно сбился с курса, потерялся, рыскал в сумерках, кружил. Вертолет явно хотел спастись так же, как и Саид Мохаммад. Вертолет летел к нему, где-то над ним, но слишком высоко, справа от него, слева. Только бы он подлетел ближе! Саид Мохаммад молил Аллаха направить русский вертолет прямо на него! Тогда он умрет не один, не зря! Он готов к бою! У него есть верный друг – «калашников». Он отомстит за брата! Саид Мохаммад приложил застывший, словно крючок, палец к курку, чуть приподнялся и, когда совсем близко померещилось что-то темное и темное пятно стало наползать на него, а за стеклянным колпаком кабины смутно вырисовалось лицо, вздрогнул от автоматной очереди и закричал: «Аллах акбар!» – радуясь предсмертной победе над русскими...

Глава 1. Десантура

Возникали самолеты из ничего. Просто набухали крошечными белыми капельками на небе и скользили вниз, точно слезы косого дождя по стеклу. От того, наверно, что спешили самолеты эти к земле, боясь быть подбитыми невидимым, но вездесущим врагом, теряли они второпях яркие шашки, которые, как бенгальские огни, вспыхивали, искрились и вскоре сгорали, оставляя над Кабулом недолгую память из дымных белых шлейфов.

Солдаты – и те, что возились с техникой в парке, и те, что по пояс раздетые либо в тельняшках подставлялись раннему, но уже теплому солнышку, пока чистили оружие, и те, что маршировали на плацу, – посматривали то и дело вверх, ожидая увидеть эти грузные транспортные самолеты, прозванные «скотовозами». Несмотря на грубое прозвище, их ждали, как ждут пароход с материка, на котором, ясное дело, плыть не придется, уж во всяком случае не в этот раз, так хоть увидеть издалека, как причаливает, да помечтать вдоволь. Появление с началом дня «Ил-76» давно стало привычным делом. Почти из любого советского гарнизона можно было следить за полетами воздушных посредников между Союзом и Афганом, и если по той или иной причине борта отменялись, делалось грустно и печально от мысли, что, быть может, там, на Родине, забыли о направленном когда-то в Афганистан «ограниченном контингенте».

Старослужащие, глядя на парящие самолеты, предвкушали неотвратимо надвигавшийся «дембель» и млели от дембельских грез. Отслужившие полсрока солдатики тяжело вздыхали, им оставалось лишь надеяться на весточку из дома.

У молодых бойцов свежи были воспоминания о полете в брюхе подобного транспортника и то жуткое ощущение катастрофы, когда самолет, набитый людьми, словно скотом безмозглым, людьми, уставшими после ночного подъема и неопределенно долгого ожидания, и таможни, и границы, и задремавшими в полете, спустя час с небольшим после взлета устремлялся с высоты семь с лишним тысяч метров вниз, будто уже подбитый неприятельской ракетой, каким-нибудь там «стингером». На самом же деле, отстреливая десятки тепловых ловушек, он, как в штопоре, в несколько длиннющих витков заходил на посадку.

Пока самолет рулил по бетонке к месту стоянки, рампа открывалась, впуская непривычный афганский горный воздух и горный же пейзаж, чужой и потому тревожный.

С этого момента запускались для каждого из сходящих по рампе часы, которые отсчитывали отведенный судьбой срок в Афгане, а для некоторых последние месяцы жизни.

Впервые прилетевшие солдаты, офицеры и прапорщики, среди которых мелькали и женщины-служащие, вели себя скованно, неуверенно. С плохо скрываемым любопытством и одновременно беспокойным напряжением они озирались, щурились от яркого горного солнца; тех же, кто возвращался из отпусков, командировок, после лечения, отличить было просто: они знали, куда и зачем вернулись, в каком направлении надлежит им идти с бетонной полосы аэродрома.

Солдатики прибывали на кабульский аэродром одинаково стриженные, одинаково растерянные, одинаково бесправные. В одинаковой форме, обезличенные этой одинаковостью: в длинных, часто не по росту шинелях, тяжелых, неудобных сапогах-«говнодавах», с однотипными вещмешками. Солдатиков привозили словно боеприпасы: ровненькие, если не присматриваться ближе, солдатики-патрончики – расходный материал, различный по росту-калибру.

* * *

– Летают, товарищ старший лейтенант. Два борта сели, – доложил дежурный по роте безнадежно затосковавшему от бесконечного ожидания заменщика офицеру. Одетый по форме, лежал он на кровати, наблюдал, как по потолку ползет муха. Недовольно произнес в ответ:

– Толку-то что с этого, Титов?

– Не могу знать, товарищ старший лейтенант...

– Я говорю: что толку, что летают?

– Вы же сами просили докладывать, если борта будут садиться... Я и докладываю...

– Что за борзость в голосе? Не понял, бля! Конь педальный! – Офицер повернул голову. – Ты с кем разговариваешь?! Свободен, Титов! Дверь закрой!

– Что?

– Дверь закрой! Чтоб больше меня не тревожили! Стоять, тело! Меня будить только в двух случаях: при появлении заменщика и в случае вывода Советских войск из ДРА! Понял?

– Так точно!

– Пошел на ...

Здоровяк дежурный, по силе и росту превосходящий офицера неоднократно, тут же покорно изогнулся, будто лакей, которого обругал ворчливый барин, попятился из комнаты. Знакомый с взрывным нравом старшего лейтенанта и будучи за срок службы, как и остальные солдаты, не единожды битый по печени и почкам, когда попадался под горячую руку или без причин вовсе, он предпочел не выпячивать излишнюю преддембельскую развязность и вышел, тихонечко прикрыв дверь. Распрямив плечи, он, как оборотень, тут же превратился в беспощадного деда, сурового властелина казармы.

Вымещая злость за только что пережитое унижение, за обидные слова, которые пронесли по всей казарме и долетели до молодых бойцов из наряда, Титов пнул ногой нерасторопного рядового Мышковского, орудовавшего шваброй:

– Гондон штопаный! Ты когда должен был закончить уборку?!

Загремело опрокинутое ведро. Мутная вода растеклась по фанерному полу казармы.

– Я тебя, Мышара, сортир языком заставлю вылизывать! Чмо болотное! – громко, так, чтоб все слышали, закричал он.

– Младший сержант Титов! – прервал разбушевавшегося деда командирский голос.

– Ты что, салабон, не понял? – продолжал, несмотря на окрик, Титов. – Упал, отжался! Десять раз! В темпе! В темпе! Предупреждаю, Мышара, – придавил он голову солдата ботинком, чуть тише добавил: – Стною!

– Титов! – повторно послышался окрик командира.

– Что такое ВДВ, Мышара?! – выдавливал Титов ответ ботинком.

– ВДВ – это воздушно-десантные войска...

– ВДВ – это щит Родины, салага! А ты даже для заклепки на этом щите не годишься!

От испуга Мышковский продолжал лежать на полу. Ботинки всемогущего деда удалялись к бытовке.

– Младший сержант Титов по вашему приказанию прибыл! – развязным тоном доложил дежурный, заходя в бытовую комнату и обращаясь к почти уже налысо остриженной голове лейтенанта Шарагина. Скрестив ноги, он неподвижно восседал на тумбочке. Плечи его покрывала простыня с казенным штампом Министерства обороны – фиолетовой звездой. Рядом на полке лежала форма с красной повязкой ответственного по роте.

Лейтенант Шарагин пристально изучал в небольшом треснувшем с одного края зеркальце свой новый облик. В зеркале отражались серо-голубые глаза, выбритый подбородок

со свежим порезом от бритвы, правильной формы нос, густые усы, соскабливаемые опасной бритвой последние островки растительности на голове, от чего белая кожа на черепе, резко контрастировавшая с красным горным загаром лица, как бы натянулась, словно на барабане.

Именно таким хотел видеть себя Шарагин – бритым наголо.

Природа, работая над лицом лейтенанта, явно малость схалтурила, придав ему черты скупые, стандартные, лишённые особой индивидуальности и особой красоты.

Не отрываясь от собственного отражения, Шарагин театрально выдержал паузу, прежде чем спросил бойца как бы невзначай:

– Что там старший лейтенант Чистяков?

Дежурный стоял у него за спиной, подпирая косяк двери, и крутил на пальце ключи на цепочке:

– Товарищ старший лейтенант приказал не будить.

– Кажись, заканчиваем, – сказал сержант, выполнявший ответственную функцию цирюльника.

– Такой талант пропадает, – подсмеивался над приятелем Титов. – Вместо того чтобы полтора года жопу под пули подставлять, лучше бы в полку парикмахером работал, а, Панас?

– Шел бы ты на хер, Тит! Извиняюсь, конечно, тварыш лейтенант, за грубость неуставную, но с Титом только так можно.

– Вы не отвлекайтесь, товарищ сержант, – обрезал лейтенант Шарагин. – Внимательней надо быть, когда бреете командира!

В отличие от младшего сержанта Титова, большого и тупого балбеса, в сержанте Панасюке находил он зачатки человечности, и даже за срок службы не все они перемололись грубой армейской жизнью. Панасюк был родом с Алтая, тощий, как белорусский крестьянин, длинный, как флагшток, жилистый и выносливый. Панасюк любил хохмить, заядло курил, дохал от курения, матерился через слово, а когда смеялся, то под глазами и на лбу выступали не по возрасту ранние и глубокие морщины. Говорил он обычно с каким-то протяжным ксендзовским акцентом: «Шо вы волнуетесь, тварыш лейтенант? Поручите это дело мне – все будет чики-чики».

– Ночью продсклад кто-то обчистил. – Шарагин поймал в зеркальце бегающие глаза младшего сержанта Титова. – Не дай бог, кто-то из нашей роты – контужу на месте!

– Ночью все дрыхли, товарищ лейтенант, – клятвенно заверил Титов.

Сержант Панасюк подтвердил, что, мол, не из их роты, вытер взводному шею вафельным полотенцем:

– Готово.

Панасюка лейтенант Шарагин выделял еще и потому, что сержант, заправлявший бойцами круто, никогда не позволял себе измываться над собратьями по роте, не превращал службу подчиненных в рабство и, самое главное, сдерживал в меру сил других дедов.

...особенно таких олухов, как Титов... – подумал Шарагин.

«Воспитательные» приемы, как, например, «прописка», когда лупили новичков в роте по голым жопам дерматиновыми шлепанцами, так что на следующий день они и присесть в столовой не могли, поглаживая через форму синячные ягодицы, проводились в строжайшей секретности. Входило это в негласный солдатский ритуал, и командиры при всем желании не уследили бы, не остановили бы его исполнение. Потому-то и Шарагин не переживал по этому поводу. Не в силах был один взводный прервать сложившуюся за годы традиции взаимоотношений молодой – чиж – черпак – дед. Ничего не попишешь, ничего не изменишь.

– Бляди! – вдруг крикнул на всю казарму старший лейтенант Чистяков.

Этот регулярно повторяющийся в течение последних недель крик офицерской души, которая хотела домой, был адресован всем сразу: и армии, и Афганистану, и солдатам из наряда.

Младший сержант Титов предусмотрительно покинул бытовую комнату и спрятался в каптерке. Знал Титов, что, если Чистяков вышел из комнаты в дурном расположении духа, лучше на глаза старлею не попадаться.

– Побрился? Молодец! – выпалил Чистяков, проведя рукой по гладкому черепу приятеля.

– Ну как? – наслаждался бритым видом Шарагин.

– Нормально, мы это проходили. Пошел на ... отсюда! – заорал он на заглянувшего в бытовку бойца из наряда.

Тишину казармы надломила закончившая чистку оружия и ворвавшаяся с улицы солдатская масса. Она мигом заполнила помещение топотом, матом, гоготаньем.

– Рота, смирна! – заорал дневальный на тумбочке, отдавая честь входящему в казарму ротному. – Дежурный по роте, на выход!

Солдаты, кто где стоял, выпрямились, застыли на месте.

– Вольно, – прошел мимо дневального долговязый капитан Моргульцев.

Заметив своих офицеров, шмыгнул носом, выдавил:

– На улице плюс тридцать, а я, бляха-муха, простыл!

– Воль-на! – повторил громко слова капитана дневальный.

– Кондеры во всем виноваты, товарищ капитан! – вставил семенивший за Моргульцевым старший прапорщик Пашков.

– При чем здесь кондеры, старшина?! – сморкался в платок ротный.

– От кондера сдохнуть можно. Воспаление легких – как нечего делать! Чего смешного? Ничего смешного! Кондиционер все легкие выстудить может.

– Без кондера скорее сдохнешь! – противостоял прапорщику Чистяков.

– Господи! – Моргульцев уставился на бритую голову взводного. – Явление Тараса Бульбы народу! Не иначе.

– Якши Монтана! – всплеснул руками Пашков.

Шарагин смутился, почесал в затылке, прикрыл голый череп кепкой, по всей строгости доложил:

– Товарищ капитан! За время вашего отсутствия происшествий не было!

– Засранцы! Бляха-муха!

– Ты чего такой смурной? – решил разрядить обстановку Чистяков.

– Раз в году, – огрызнулся ротный и выдал одну из многочисленных своих заготовок, – организму требуется встряска. В этот день я не пью...

– Не обращай внимания, – Чистяков подмигнул Шарагину. – Он в штабе был. Наверняка Богданов на него накричал.

Пересказывать своими словами материал политзанятий старший лейтенант Немиллов не умел. Скучно и нудно читал он подчеркнутые карандашом отрывки из брошюр, из журнала «Коммунист вооруженных сил» и охотно отвлекался от темы, если, скажем, замечал, что недостает у кого-нибудь комсомольского значка.

Рассчитывать на то, что бойцы что-то запомнят из услышанного на политзанятиях, было б наивно, а потому Немиллов заставлял отдельные строчки писать под диктовку. Если нагрянет проверка, у каждого бойца тетрабочка с конспектами.

– Записываем! Демократическая Республика Афганистан.

– Знакомое название, – хихикнул ефрейтор Прохоров. – Где-то я его уже слышал.

– Нечего паясничать! Истории страны пребывания не знаете. Итак! Официальные языки – пушту и дари. Население – ... миллионов. Кто его знает, какое у них теперь население?! Ничего не записывайте. Теперь немного истории. Диктую! Попытки Англии подчинить Афганистан в XIX веке окончились провалом. Благодаря поддержке Советской Рос-

сии англо-афганская война в мае – июне 1919 года закончилась победой Афганистана. В 1919 году была провозглашена независимость Афганистана. Так, это вам не обязательно... – Немиллов перелистнул страницу. – Вот: СССР и Афганистан на протяжении длительного исторического периода связывают дружеские отношения. После Апрельской революции 1978 года они стали отношениями братства и революционной солидарности. Основываясь на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, правительство ДРА неоднократно обращалось к СССР с просьбой о военной помощи. Правительство СССР решило удовлетворить просьбу и направило в Афганистан «Ограниченный контингент советских войск» для защиты молодой республики от посягательств мирового империализма и внутренних реакционных сил. Новый абзац! Истинными друзьями афганского народа проявили себя советские воины, с честью выполняющие свой интернациональный долг на территории ДРА. Новый абзац! Апрельская революция – поворотный этап в развитии Афганистана, результат многовековой борьбы афганского народа за свободу и независимость, против отсталости, нищеты, бесправия и угнетения, за социальную справедливость. Панасюк, почему не пишешь?

Сержант составлял письмо домой, но после первых двух предложений «Как у вас дела?» и «У меня все хорошо» мысли закончились, и он уставился на цитату Ленина на стене о том, что революция лишь тогда что-нибудь стоит, если умеет защититься. «Это и ежу понятно!» – подумал Панасюк и скопил взгляд на «иконостас» с членами Политбюро.

Ленинская комната – она для того и существовала в каждом подразделении, чтобы, как в церкви, на стенах почитаемые ангелы-партийцы красовались вместе со «святой троицей» – Марксом, Энгельсом и Лениным, да чтоб приходил сюда солдат и время свободное проводил: в шахматы играл, письмо домой писал, телепередачи смотрел.

– Думаю, товарищ старший лейтенант.

– А я тебя сюда, Панасюк, не думать посадил! Ты должен слушать и записывать!

– Так точно! – Что-то впорхнуло в голову сержанту, он разродился двумя строчками: «У нас очень тепло. Скоро лето».

– Опыт показывает, – читал Немиллов. – Это не записывайте! Опыт показывает, что афганские граждане часто обращаются к советским воинам с просьбой рассказать о Советском Союзе, образе жизни советских людей, истории революционной борьбы в СССР. Сычев! Я тебе, кажется, ясно сказал: не надо это записывать. Слушать надо!

Рядовой Сычев лишь зашуганно втянул голову в плечи.

– Меня ни разу не спрашивали, – вновь развязно подал голос Прохоров.

– Спросят, Прохоров, спросят!

– А откуда я узнаю, что им надо, если не понимаю по-ихнему?

– Поймешь! Через переводчика... – Немиллов прервался. Нечего на idiotские вопросы отвечать. Время тянут. – Вы всегда должны быть готовыми к беседе с афганскими товарищами.

– Их, тавось, стрелять надо. Духи они все! – вырвалось у Панасюка. – Чего с ними беседовать-то?!

– Отставить! Пишем дальше. Без советской помощи силы империализма и внутренней контрреволюции задушили бы Апрельскую революцию.

В стеклянную дверь постучался младший сержант Титов.

– Товарищ старший лейтенант, разрешите?

– Что тебе?

– Надо два человека на кухню.

– Забирай, только быстро. Продолжаем... – Немиллов открыл «Памятку советскому воину-интернационалисту». Пишите! По характеру афганцы доверчивы, восприимчивы к информации, тонко чувствуют добро и зло. – По комнате прокатилась волна смеха. – Отста-

вить! Особенно ценят афганцы почтение к детям, женщинам, старикам. Так, вот это очень важно! Находясь в ДРА, соблюдай привычные для советского человека нравственные нормы, порядки и законы, будь терпимым к нравам и обычаям афганцев! Записываем! Записываем!!!

Писали солдаты медленно, с ошибками, пропуская целые предложения. Деда вообще не писали, только вид делали.

– Чириков, чтоб к утру моя тетрадка была заполнена. – Ефрейтор Прохоров расчерчивал поле для игры в морской бой.

– Кто ест мясо, часто болеет насморком, – изрек, хитро прищурившись, прапорщик Пашков. – Ночью от мяса у мужчины кое-что начинает шевелиться, приподнимается одеяло, ноги оголяются, а кондер на полную мощность морозит – отсюда и насморк.

Шарагин добродушно рассмеялся.

Старший лейтенант Чистяков сгреб в охапку валявшийся в шкафу в офицерской комнате купол парашюта, запрятал в сумку. В это время дня повадился он греться на солнце, нашел укромное местечко за модулями.

– Выходи строиться! – загорланил, ровно петух в деревне, дневальный.

– Слушай сюда, петушина харя! – Чистяков стащил солдатика с тумбочки, сжал рукой шею: – Ты чего мне в ухо орешь?! Я на заслуженном отдыхе. Понял? Меня не тревожить по пустякам. Если что серьезное, лейтенант Шарагин знает, где найти.

Глава 2. Зараза

С наступлением жары рота села на струю. Дристали и денно и ночью.

Дорожку, ведущую от казармы в отхожее место, казалось, утрамбовали до твердости асфальта. Каждые полчаса, а то и чаще, из модуля неся боец. Чижи, черпаки и деды уравнились в беде и соседствовали друг с другом на очке.

Не хватало газет. Пропала подшивка «Красной звезды» из Ленинской комнаты. Немилов жутко ругался, называл похитителей диверсантами, грозился особым отделом, на всякий случай унес и спрятал подшивку «Правды». Он слыл чистюлей, мыл руки раз семнадцать с половиной за день, едва дотрагивался до каких-нибудь предметов: все в этом мире ему казалось грязным и опасным для его драгоценного замполитского здоровья. Тонкие бледные губы его слегка подрагивали при виде изнемогающих от поноса солдат, лицо выражало брезгливость к проникшим в роту болезням. Ровный пробор, чистые ногти и безукоризненно белые подворотнички демонстрировали его открытое презрение к солдатне и отдельным не особо чистоплотным офицерам полка.

Здоровые, загорелые парни, пораженные амебиазом или еще какой местной гадостью, быстро скисали и худели на глазах, обезвоженные болезнью. Солдатня забыла про все на свете и не радовалась ничему. Деды и те настолько мучились от кровавого поноса, что плюнули на молодежь – не в силах были деды заниматься воспитанием салаг. Младший сержант Титов, любивший баловаться гирями, качая дембельские бицепсы и трицепсы, и наводчик-оператор ефрейтор Прохоров – задира и скандалист, и сержант Панасюк угрюмо коротали дни в курилке, потому что от курилки было ближе бежать на очко. И все же сесть на струю считалось лучше, чем пожелтеть и загреметь в госпиталь с гепатитом.

Из офицеров роты зараза миновала Чистякова и Моргульцева. Женька Чистяков уверен был, что боженька бережет его и на боевых, и от болезней, потому что два года носит он в кармане образок. Образок тот запрятала ему в чемодан перед отъездом мать. Женька обнаружил иконку в пути, выбрасывать не стал, припрятал получше, ближе к документам, и через таможду, через границу провез незамеченно. Замполит Немилов однажды Женьку подловил с иконкой, пристыдил, но докладывать куда-либо струхнул. Один раз, правда, боженька, приглядывая за Женькой, маху дал, не углядел: одной ложкой с земляком-особистом варенье домашнее Чистяков поел. Сперва особист полковой пожелтел, у него гепатит уже набирал силу, а спустя неделю последовал в «заразку», в инфекционный госпиталь, и Женька. На самом деле, конечно, Чистяков был тот еще безбожник и господа и маму его поносил неоднократно.

Ротный, капитан Моргульцев, причислял себя к законченным атеистам. В церкви отродясь не бывал и в чудеса не верил. Спасался Моргульцев от заразы афганской чесноком. Перед обедом съедал целую головку. Женька был не прочь чесноком подстраховаться, да вот только вечерами тогда на товарно-закупочную базу не пойдешь. А Женька таскался туда при первом удобном случае, чтобы служащих Советской Армии женского пола развлекать. Под гитару пел Чистяков.

Амуры закрутил напоследок. Клялся, что влюбился по-настоящему, и вздыхал перед сном: «Блондинка... Не за чеки, а за настоящую любовь со мной...»

Кто в этот раз первым занес в роту инфекцию, выяснить не удалось.

– Как венерический клубок – ... распутаешь! – Капитан Моргульцев ходил сумрачный, кричал на скисших «слонов», обзывал симулянтами.

Руки у любого командира опустятся в такой ситуации. Разве это рота?

Разве это десантники? Кормили солдатню таблетками, в госпиталь некоторых отправили.

Прицепилась странная кликуха «слоны» к солдатской массе давно и неспроста. От занятий по химической защите пошла, еще до войны в Афгане.

Кричал офицер: «Газы!» – и бойцы судорожно выдергивали из перекинутых через плечо холщовых сумок противогазы, цепляли на бритые и небритые головы: глаза увеличивались стеклом, стекла запотевали, а от носа тянулся к лежащему в сумке фильтру длинный шланг-хобот. Анекдот сразу вдогонку появился про командира N-ской части: малолетняя капризная дочка просит, чтобы папа слоников показал, чтоб побегали они под окном, иначе спать отказывается, и есть отказывается, и ножками топает. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. И папа отдает приказ: «Рота, подъем! Газы! Бегом марш!» И бегают «слоники», взмыленные, задыхаясь и проклиная все на свете, пока не раздастся команда: «Отбой!»

То ли в столовке подцепили эту дрянь афганскую, то ли воды кто попил не кипяченой, то ли сожрал кто-нибудь фрукт немый из города. Либо залетела зараза из ближайшего кишлака, перенеслась с мухами или с облаком пыли, которая подолгу висела в воздухе, стоило хоть одной машине проехать по дороге.

Полк давно отгородился от афганцев и всего, что с ними связано.

Отгородился колючей проволокой, минными полями, растяжками, сигнальными ракетами, пулеметными гнездами, окопами, брустверами, наблюдательными вышками, броней танков, минометными и артиллерийскими позициями. Зорко следили, чтобы враг или какой афганец из ближайшего кишлака не подошел близко. Но враг не шел, не нападал на полк. Вместо врага приходили дизентерия, гепатит, амебиаз, брюшной тиф.

– Иди, возьми веревку и повесься! – шутил над страдающим поносом старшим прапорщиком Пашковым ротный. – Хоть умрешь как настоящий мужчина, а не как засранец!

Пашков заболел первым, и какое-то время подозрение ротного пало на старшину как на источник инфекции, но затем выяснилось, что трое солдат из последнего призыва уже несколько дней были больны. Рядовые Мышковский, Сычев и Чириков молчали первые дни по глупости солдатской и по незнанию местных болезней.

Начиная с Ферганы вдалбливали в пустые рабоче-крестьянские головы элементарные истины личной гигиены, но толку от подобных разъяснений было, как правило, мало. Только переболев тифом, гепатитом или амебиазом, мог уяснить для себя неотесанный солдат, что руки моются с мылом, и не единожды, что вода пьется кипяченая и что, если нет таковой, надо терпеть, что ложкой соседа пользоваться нельзя, что котелок после приема пищи мыть надо до блеска, что если муха афганская влетела в столовую и села на твою мизерную, желтую, растаявшую порцию масла, надо семьдесят четыре раза подумать, чем это может обернуться, прежде чем запихивать ее в пасть, что нельзя жрать все подряд, даже если очень голоден. А молодой боец всегда голоден. Он зарится на фрукты и овощи, разложенные в афганских дуканах, он готов поднять из лужи и, обтерев рукавом, проглотить неспелый помидор, он нажрется дармовым арбузом, он ринется к горному ручью, если припрет жажда.

Ефрейтор Прохоров заприметил у сортира рядового Чирикова, позвал:

– Эй! «Бухенвальдский крепыш»! Ко мне!

– Чего? – поникшим голосом спросил Чириков.

– Не чаво, а доложить по форме!

– Товарищ ефрейтор, рядовой Чириков по вашему приказанию явился.

– Сгоняй за «Si-Si».

– А деньги?

– Что, своих нет?! Че смотришь?! Потом рассчитаемся. – Не удавшийся ростом, но юркий от природы Прохоров встал в стойку карате, ребром ладони ударил Чирикова по шее. Чириков ойкнул и засеменил к магазину. Младший сержант Титов прыснул со смеху:

– Тоже мне, Брус Ли!

– Кабы не болезнь, я б тебе показал спарринг!

– Уже показал, – махнул рукой Титов. – Ты пока ноги будешь задираешь, каратист х...в, я тебя так по чайнику двину, что мало не покажется.

Из сортира появились Мышковский и Сычев. В роте первого прозвали «целина» – где-то в казахских степях зачали его родители, пока поднимали эту самую целину. Надорвались, видать, от непомерных усилий. На целине же и закопали мать, а отец попить стал, так что и «сиротой» бывало звали Мышковского, но после кличка «Мышара» прижилась. Второго же, веснушчатого и лопухого, прозвали «Одессой» – под славным черноморским городом родился Сычев.

– Мышара! Одесса! Ко мне! Что-то вы часто на очко бегаете. – Очень любил это дело Прохоров – молодых травить. Чирикова он приемами карате доводил, Сычева же не трогал, от природы крепок был Сычев, против него только Титову выступать – такой же детина. На словах же поиздеваться можно. – Чего вы там делаете? Газеты читаете?

– А что на очке делают? – заерепенился Сычев.

– Дрочите?!

– Нет. – Солдатики смутились.

– Не жди полюции в ночи! – воинственно произнес Прохоров. – Как дальше?

– Дрочи, дрочи, дрочи! – в два голоса покорно ответили деду Мышковский и Сычев.

– Свободны! – оборвал воспитательные уроки Прохоров.

Из модуля трусцой бежал старший прапорщик Пашков. Как любой прапорщик, Пашков думал, что он всех хитрей. Хитрость прапора заключалась в том, что он категорически отказывался от научных методов лечения. Набегавшись в сортир и сообразив, что микроб, как называл он любую инфекцию, просто так сам по себе не сгинет, что зацепился микроб этот за стенки кишечника либо в желудке засел, Пашков раздобыл трехлитровую банку спирта, заперся в каптерке и не показывал носу три дня. Нажираясь до поросычьего визга, Пашков ужасно громко храпел, присвистывая и похрюкивая.

Старшину не беспокоили, иногда лишь стучались и предлагали чайку.

Правда, солдаты из наряда утверждали, а лейтенант Шарагин лично засвидетельствовал, что по ночам, когда все спали, старшина выходил из каптерки и, как тень отца Гамлета, блуждал по казарме, прежде чем направиться в сортир. Он никого не узнавал и не замечал, на человеческую речь не реагировал и даже отдаленно не напоминал того настоящего старшего прапорщика Пашкова, что держал солдатню в ежовых рукавицах.

Все сочувствовали старшине, кроме командира роты. Моргульцев знал его по службе в Союзе и потому, когда лейтенант Шарагин, сам мучившийся амебиазом, как-то заметил вслух, что, мол, жаль старика Пашкова – совсем погибает прапор, изживет его со света болезнь, и что пора бы и в госпиталь отвезти, не удержался и выпалил:

– Окстись! Какая на ... болезнь! Запой у него! Ровно раз в квартал бывает у Пашкова.

А потом, уже успокоившись, добавил:

– Хотя, бляха-муха, у некоторых прапорщиков намного чаще случается, как месячные у бабы...

Моргульцев старшину не трогал. Он знал, что Пашков скоро отойдет и излечится сам. Как зверь раненый уходит в лес, прячется от всех, так и Пашков ушел от людей в каптерку, закрылся и лечился то ли от поноса, то ли от тоски.

На третий день в каптерке раздался взрыв. Взрыв был не то чтобы очень сильный, похож он был на взрыв запала, но вся рота перепугалась, что старший прапорщик Пашков от беспробудного пьянства тронулся рассудком и решил покончить не только с засевшим в желудке микробом, не только с охватившей его загадочную душу тоской, но и с собой тоже.

Дверь взломали. В дыму обнаружили старшего прапорщика в состоянии белой горячки и пустую трехлитровую банку.

Пашков полулежал-полусидел на наваленных кучей солдатских вещмешках и шинелях, шевелил усами и вращал безумными зрачками, указывая на небольшую трещину в полу, откуда, твердил он, ползут скорпионы, фаланги и змеи, и вроде как он часть этих гадов уничтожил, когда метнул туда запал от гранаты.

На всякий случай он держал наготове пистолет Макарова, которым собирался отстреливаться от «тварей ползучих».

– Пистолет отобрать, старшину препроводить в комнату, вылечился прапорщик! – заключил Моргульцев.

Диковинным образом спирт возымел успех и помог старшине избавиться и от афганской заразы, и от тоски, и не далее как через неделю безуспешно доказывал Пашков ротному, что вовсе не хандрил, что взаправду болен был, и еще намекнул с некоторым злорадством в голосе, что если, не дай-то бог, командира постигнет подобная напасть и сядет он, товарищ капитан, на струю, то пусть знает, что прапорщик Пашков не жлоб, что он поможет, подскажет, где и почем достать трехлитровую банку спирта. Меньшая доза не убьет микроб, настаивал старшина как большой специалист в этом деле.

В отличие от Пашкова, лейтенант Шарагин мучился дольше, усердствуя не в питии спирта, а в регулярном приеме таблеток. Будучи человеком образованным, убежден был он, что заразу эту алкоголем не сломить, не убить до конца.

Он поднялся среди ночи и, потный от болезни, сонный, заторопился на улицу.

Стараясь дышать через раз, при тусклом свете маленькой лампочки просматривал огрызок «Красной звезды», затем тщательно скомкал его, чтобы размягчить жесткую бумагу.

Центральные советские издания и окружную газету «Фрунзевец» читали в полку часто, и не только на очке. Читали о событиях в мире капитала, в стране победившего социализма, о партийных и комсомольских съездах, смеялись над авторами афганских репортажей. Но скажи кто чужой недоброе слово против газетных историй об Афгане, встали бы как один на защиту и клялись бы, что истинная правда написана об интернациональной помощи и о том, как, например, подорвался бронетранспортер, потому что лейтенант пожалел урожай афганских дехкан, вспомнив родной колхоз, и родные поля, и тяжелый труд крестьянский, и что сам когда-то механизатором собирался стать, но пошел в военное училище, потому что есть такая профессия – родину защищать; вспомнил об этом лейтенант и потому поехал по дороге основной, а душманы ее заминировали, конечно же...

Ночь, наряженная в колючие острые звезды, высилась над полком. Тихо спалось десантникам, если не считать гудящую на краю полка ДЭСку – дизельную электростанцию, к шуму которой давно все привыкли.

Шарагин остановился, чтобы очистить легкие после тяжелого въедливого запаха дерьма, закурил, любуясь шелковой луной и рассыпанным звездным бисером. Ныло внутри от болезни, весь будто ссохся он, точно выжали его, как половую тряпку, обессилел совсем, слабость наваливалась дикая.

Время от времени вверх уходили трассера – кто-то из часовых баловался, заскучав на позициях.

... как страдавшие души людей, которым надоела война, вырываются трассера и летят безмолвно ввысь, чтобы впитаться в небо над Кабулом, в надежде убежать из этого города и из этой страны...

Показалось также, будто

... звезды далекие – это разбросанные по вселенной осколки разбитых душ, мерцающие в лунном свете, освободившиеся от всех земных человеческих нужд и забот...

Вернувшись в модуль, он почти час ворочался, скрипя пружинами. А когда дрема начала запутывать мысли о семье и уводит в сон, на улице, почти прямо под окном, раздался выстрел и звонко рассыпались куски разбитого окна.

Женька Чистяков сорвался с койки и упал на пол еще до того, как пуля, пробив стекло, застряла в стене.

Догадавшись, что стреляли свои, что больше выстрелов не последует, как был в сатиновых трусах, нацепив кроссовки, Женька побежал на улицу.

– Бляди! – кричал он на ходу. – Смерти моей хотят!

К тому времени, как на улицу выскочили Шарагин и другие офицеры и на крыльце казармы столпилась разбуженная выстрелом солдатня, Женька успел основательно набить морду часовому.

Самоубийца-неудачник не защищался от ударов. В каске и бронежилете, солдат растерянно, сбивчиво доказывал отдельными словами в паузах между ударами, что как-то само собою у него все получилось, что не собирался он вовсе стреляться, что споткнулся. Врал, изворачивался, оправдывался.

... руку наверняка собрался прострелить, да испугался...

Невнятные мысли отражались на худощавом, искаженном армейскими порядками лице солдата.

– Да по мне лучше бы ты тавось – застрелился! – продолжал бить солдата Чистяков. – Только по-тихому и вдали от модулей! А ты, блядь, решил под моим окном!

...затравили его деды... или служить в Афгане не хочет... – подумал Шарагин и зевнул.

... как бы Мышковского не довели до греха... отвечать-то мне... – пронеслось в голове.

Часовой походил на рядового Мышковского и внешне и тем вызвал у Шарагина двойное чувство – жалость и раздражение. Нескладный был боец, замедленный в мыслях, судя по разговору, и в движениях неуклюж.

Каска свалилась с головы солдата, и удивительно смешно торчали уши бойца – как два куска расколотой пополам тарелки, которые взяли да приклеили к голове.

Форму молодой боец так и не научился носить, да и не могла она сидеть нормально на таком несурзном туловище.

...злость в человеке берет начало от желания отомстить... чем слабее оказывается человек, тем сильнее задавливают его, а когда наступает черед обиженного верховодить, он вымещает все на новеньких – это замкнутый круг...

... надо спать идти... пусть другие разбираются... в конце концов, он не из нашей роты...

– Пойдем спать, Женька, – предложил Шарагин, когда они выкурили по сигарете.

– Какой теперь, к чертовой матери, сон?

Он прекрасно понимал Чистякова. Таким резким и вспыльчивым сделал его Афган.

... неизвестно еще, каким я буду под конец...

Чистяков протрубил в Афгане двадцать три месяца, а сейчас, вдобавок, восемь недель маялся в ожидании замены.

В столовку Чистяков ходить перестал. Питался консервами, хлебом, чаем.

Подкармливали его от случая к случаю благодарные за песни и внимание барышни с товарно-закупочной базы и особенно загадочная блондинка, которую никто ни разу не видел, но которая, по рассказам, в Женьке души не чаяла.

– Она думала, что я жениться собрался, – делился с товарищами Чистяков.

– Куда ж тебе? У тебя семья, – рассудил Шарагин.

– Вот именно. Я ей так и сказал: если б не семья, увез бы на край света!

– А она что? – прислушался Пашков.

– Она? ... вся в слезах...

– Плохая примета, – предостерегал Моргульцев. – Скоро на боевые поедем, а бабы на войне удачу не приносят...

Весь следующий день Чистяков пролежал на кровати. Он и в город ехать отказался, когда подвернулась возможность, лежал и молчал.

– Где старший лейтенант Чистяков? – обвел взглядом подчиненных ротный.

– Их благородие отдыхают-с... – Пашков подкрутил пышные усы.

– Понятно, лег на сохранение... – Капитану подобное состояние было хорошо известно. В таком настроении пребывали перед заменой многие офицеры и прапорщики. Береженого бог бережет. Если начинался обстрел, самые смелые и отважные военнослужащие, ничуть не смущаясь, торопились в убежище. Кому хотелось по глупости погибнуть в последние перед отъездом домой дни?

– Блядь! Где он? – подвывал Чистяков. – Где его бога-душу-мать носит?!

– Отпуск отгуливает, – подливал масла в огонь Пашков. – Иль в Ташкенте пьянствует.

Пиво сосет...

– Вот увидите, – твердил ротный, – сейчас Чистяков кроет заменщика матом, а появится тот в полку – будет с него пылинки сдувать. Знаем, проходили...

На ужин Чистяков не пошел. Он шмякнул изо всех сил об пол консервную банку:

– ...чтоб микроб внутри сдох!

Приговорив купленную у гражданских ноль-семьдесят пять, сидел Женька за столом, курил, выпуская из ноздрей дым, и доверительно сетовал на жизнь плававшим в банке килькам, а под конец, излив душу, произнес:

– ...стоит корова на мосту и ссыт в реку, вот так же человек – живет и умирает...

Когда же пришел Шарагин, пьяный Женька заметил:

– Парадокс русской души: скоμμуниздить ящик водки, продать его, а деньги пропить.

– Отстань. – Шарагин вытянулся на кровати, полежал, подумал, решил написать несколько строк домой. – Какое сегодня число, Женька?

– Сорок четвертое апреля.

– Такого в природе не бывает.

– Бывает.

– В апреле, – пояснил Шарагин, который ни накануне, ни в течение нынешнего дня не выпил ни капли, – тридцать дней.

– Я должен был заменить в апреле. И пока я, блядь, не заменюсь, апрель месяц не кончится!

Хоть и хандрил Чистяков, и пил горькую, и отлынивал от нарядов и краткосрочных выездов из части, на боевые собрался первым и взвод настроил соответствующим образом. Настроил на войну.

– Всех пропонило, теперь за дело! – подгонял он «слонов». – И чтоб я, блядь, ни от кого больше не слышал про болезни! – крыл он направо и налево.

Женька предвкушал войну, риск, азарт боя и весь светился. На боевых погибнуть офицеру не страшно, страшно, а вернее, обидно по глупости пулю или осколок заработать.

Солдатам приходилось несладко. Дембеля жаждали домой не меньше, полтора года без увольнительной, без отпуска пропахали, но лишены были права выбирать, проявлять недовольство, как офицеры. Чистяков ко всем подряд придирался, шупал кулаком печень у «слонов»:

– Удар по печени заменяет кружку пива!

Загорелся Чистяков ехать на войну, ходил чумной, про заменщика забыл, чистил автомат, вещи укладывал, нож точил.

– Ох, и не завидую я духам... – качал головой прапорщик Пашков. – Откуда у него вдруг столько энергии взялось? – Старшина проверял, как закрепили на башне бронемашины станковый пулемет. – Ты что такой невеселый, Шарагин?

– Сон плохой приснился...

Глава 3. Панасюк

Служба армейская состоит из дисциплины, из самодурства, из унижений, из нарядов, из приема пищи, из переваривания пищи, из сна и ожидания – ожидания приказа, ожидания отпуска, ожидания возвращения домой, ожидания конца власти дураков и подлецов, ожидания решений судьбы. А если армия воюющая, служба подразумевает и ожидание смерти: во имя исполнения приказа, во имя интересов Родины либо просто потому, что на этот день, на этот час выпал такой-то номер, конкретный номер, ТВОЙ номер. Ведь на этой войне, как на всякой войне, кто-то должен был погибнуть...

Такой смертный выбор судьбы живые впоследствии чаще всего называют героизмом или «до конца выполненным долгом», а реже попросту – «непрухой». И те, кто был рядом со смертью, придумывают позже оправдания такому повороту судьбы. Но скрывают друг от друга люди войны, что им просто-напросто повезло, что в этой лотерее смерти участь погибнуть в очередной раз миновала их. И лишь в потаенной глубине военного человека всплывает временами мысль, которую и осознать не получается, – тогда возносят они хвалу той руке, что не вычеркнула ИХ номер из списка живых...

На расстеленной меж горами равнине укрылись не присягнувшие новой власти своеправные афганские племена. Войска заняли господствующие высоты, нависли над кишлаками, над лесистой местностью – «зеленкой», затаившиеся, как хищный загнанный зверь. Войска растянулись на многие километры, окопались, ждали приказа на прочесывание. Войска знали, что одержат верх, что «зеленка» покорится им, как знали, что за это придется заплатить.

Те, кто задумал сражение и готовился отдать приказ, уже подсчитали, во что примерно обойдется операция, потому что война – это наука, а наука любит точность и расчеты. Война не прощает слабость, войне не знакома жалость, и потому люди, принимающие решение воевать, никогда не руководствуются этими чувствами. Они намеренно отдают себя от эпицентра сражений, чтобы не видеть солдат, которых отправляют на бойню, чтобы не смотреть им в глаза, они только посылают воинам напутствия, сулят награды и звания. Они знают, что после победы количество потерь не станет определяющим, потому что погибшие автоматически сделаются героями, а искалеченных, раненых вырвут из сражающихся рядов, отделят от живых и отправят в специально придуманные для этой цели госпитали и медсанбаты, чтобы не смущали они видом своим сослуживцев и вступающие в бой свежие подкрепления.

Взвод Шарагина скоро врос в придорожную горку, обжил ее, превратив в большое гнездовье. Как и вся рота, весь батальон и все задействованные на эту боевую операцию части, взвод день за днем ждал приказ, а пока ждал – дрых в тени растянутых откосом тентов и под бронемашинами, мечтал о доме и видел дом в послеобеденных и ночных снах, жрал сухпай и гадил вокруг позиций.

Как любой командир, лейтенант Шарагин боялся, что расслабуха, затянувшись она еще на парочку дней, всех погубит, но мало что мог предпринять в данных условиях и лишь надеялся на скорую команду выступить.

...нас обступили горы... когда солнце уходит, и темнеет, и горы передеваются в фиолетово-серый цвет, и на дежурство заступают первые звезды, солнце некоторое время освещает обратную сторону гор, и от этого кажется, что там еще день, и они выглядят плоскими... как будто исполин какой вырезал из картона поникших воинов древних, и всадников усталых, и вершины и рельеф весь – не что иное, как их склоненные от усталости головы, и покатые плечи, и спины устроившихся на привал, и конские морды... он склеил все

вырезанное вместе, расставил, как гигантские декорации, придав тем самым некий уют спящей долине... долине, которую мы скоро завоюем...

Тоску и накатившееся лирическое настроение дополнил налетевший ветер-«афганец», сухой, горячий, назойливый и густой, задувший на целый день.

Освирепел «афганец», будто осерчал за что-то на весь взвод разом и на все войска, что пришли в долину. Гнал и гнал он по воздуху мириады песчинок, скребся по брезенту, стегал по лицу, забрасывал пылью и песком сжавшихся за камнями, в окопах часовых, которые мечтали о скорой смене.

Но смена никогда не приходила в положенный час. Безразличные к тяготам молодых старослужащие дрыхли, черпаки, которым следовало заступать, тянули время, урезая собственные смены.

Ветер приплясывал, хороводил по долине, непроглядным пыльным туманом застилал небо и горы. Разгуливал на просторе «афганец» – напористый, свирепый, беспощадный, словно чувствовал свое превосходство и полную безнаказанность.

...как же там было сказано? ох, как правильно там было написано!.. – мучился Шарагин, надеясь вспомнить кусочек из Екклесиаста, вычитанный когда-то:

«Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои...»

...точь-в-точь про «афганец» писалось... вернусь домой, надо перечитать...

В полку терпеть «афганец» было легче, но тоска наваливалась не меньшая и всегда тянуло домой, а поскольку дом был далеко, тянуло напиться.

Поднятый «афганцем» песок просачивался всюду, во все щели, во все дырки, люди сплевывали, вычищали песок из глаз и носов; песок застревал в волосах, сыпался за шиворот. Предчувствие беды таилось в ветре.

Покуролесив вдоволь, ушел-таки «афганец» где-то под вечер. Нет, не выдохся он, не от того смолк ветер. Просто, видать, наскучило ему резвиться в этих краях и, завернув на прощание пару смерчей, отправился он дальше продолжать разгул на просторах иных и досаждать неожиданностью людям новым.

Установилось полное затишье, высыпали холодные звезды, а наутро возобновило истязания солнце. Солдаты, обычно говорливые и шумные, смолкли.

Шарагин обошел позиции. Двое солдат сопели в тени тента; один из них – Саватеев – во сне сгонял с лица муху, морщился, почесывал щеки, а когда поскреб машинально в затылке, потревоженные вши перескочили на голову приятелю.

...побрею, всех наголо побрею!..

Видел Шарагин, как разгуливает в одних сатиновых трусах, закатанных, чтобы походили они на плавки, младший сержант Титов, почесывая рукой в паху, а на бушлатах устроился сержант Панасюк с красной от загара рожей. Тут же рядом одетый по форме рядовой Сычев давил гнойные прыщи на спине у дедушки Советской Армии Прохорова.

...мерзость...

По особым, неписаным законам раздеваться имели право только деды. В принципе, и они не имели права это делать, но любой здравомыслящий командир не замечал подобную вольность, если она ограничивалась разумными пределами.

Деды знали, что делали, знали, что с любым командиром можно поцапаться, и если не переступить отмеренных линий границ, если не хамить сверх меры, не доводить его вызывающим поведением, до конфликта дело не дойдет. Надо только очень четко знать, когда остановиться. Шарагин покосился на раздетых до трусов Панасюка, Титова и Прохорова, второй раз обвел взглядом, когда шел по нужде, а когда возвращался, те уже одевались. Поняли намек взводного.

Привели себя в порядок и пошли гонять молодых, потому что больше занятий для них в этот день не нашлось.

Панасюк тоже гонял молодых, но больше для порядка, «шоб дисциплина не хромала», вовсе не как его дружки – лишь бы подурачиться да поиздеваться над молодняком. Охотно перенял Панасюк у взводного отдельные манеры и выражения. Копируя Шарагина, обращался он к чижам и черпакам на «вы», однако с чувством дедовского верховодства; на боевых погонял сослуживцев, повторяя опять же заимствованную у своего командира фразу: «Солдат сначала идет столько, сколько может, а потом еще столько, сколько нужно». За упрямство и упорство получил Панасюк соответствующее прозвище «горный тормоз коммунизма». На боевой машине десанта стоит так называемый горный тормоз с защелкой, поставил – двигатель реветь будет, а машина с места не сдвинется.

Так и Панасюк тоже умел «не двигаться с места» и из-за этого упрямства потерял в первые месяцы службы, еще в учебке, передний зуб – не испугался грозных стариков, в драку полез, накостылял, кому следовало.

От раскаленного солнца и безделья люди на горке кисли, делались вялыми и глупыми. Камни жгли – ни присесть, ни прислониться. При такой жаре у любого человека мысли летят вразброс. Кажется, что жара, даже в тени, высасывает из человек вместе с потом все соки, бросает его в бредовый, тягостный сон, от которого с трудом освобождаешься – очумевший от духоты, со слюнями на губах, с чугунно-квадратной головой, задуренный миазмами сновидений.

...Во сне Шарагина шатало, и хотя мыслил он трезво, цельно, координация полностью нарушилась: все выбегали строиться, пьяный безуспешно натягивал носки. Носки были почему-то на два размера меньше, и пятка от этого не налезала; он прыгал на одной босой ноге, не удерживал равновесие и заваливался назад, хорошо еще, что койка стояла за спиной, не ударился... Потом сквозь тончайшую, как тюль на окне, пелену сна фиксировал Олег отдаленные голоса солдатни: «сдрейфил, салабон!.. обхезался, чадо, когда обстрел начался!..», «всего в пяти метрах ебнул эрэс, и, прикинь, ни один осколок не попал в нас...», «я сразу троих духов положил», «лучше уж я в чужое дерьмо вляпаюсь, чем на тот склон пойду, у нас уже был один такой мудака, в натуре, отправился грифилечек выдавливать в поле... жопу его нашли метров за двадцать, хэ-хэ-хэ...», «помнишь прапорщика Косякевича, помнишь, как он корчился, это самое, ну, зажали нас тогда духи в ущелье, и из ДШК как... Косякевич и словил пулю в живот... санинструктор перевязывал его, но мы-то знали, что старшине кранты!», «...смерть, в натуре, она всегда бабахает неожиданно...» А еще слышал сквозь сон Олег, как сетуют солдаты на наряды, на паек хреновый, что «вечно приходится за свои чеки хавку докупать». Проклинала солдатня последними словами и неумное афганское солнце.

В конце концов не выдержал Шарагин эту монотонную и тупую болтовню, мешавшую ему спать, и коротким, понятным окриком оборвал разговоры солдат, выпил воды из фляги и отвернулся в надежде заснуть, чтобы скоротать время до ужина.

На смену одним голосам приходили другие, и отвлекали звуки эти от сна, да и не хотел Шарагин спать, мысли различные пробегали в лейтенантской голове Шарагина.

...по сути своей, солдатня – это сброд, это оборванцы, отрывка нашего общества, это... черт, как быстро одичала, очумела на воле, на выезде солдатня!.. пустячные, идиотские мысли в голове почти каждого, от этого и чушь словесная высыпает из каждой пасти... но если наш боец настолько туп и бестолков, что же говорить о «соляре»?.. у мотострелков вообще одни дебилы служат!..

Жизни проходимцев типа Прохорова, разгильдяев и жлобов типа Титова, затравленных салабонов типа Мышковского, Сычева и Чирикова, хохмачей вроде Панасюка и прочих

характерных и нехарактерных личностей и не личностей последнего и промежуточных призывов принадлежали Шарагину. Вернее сказать, он приписан был к этому сборищу характеров, называемому взводом, и благодаря ему делался взвод боеспособным, и обязан был он ежечасно, ежеминутно, ежесекундно думать о взводе, о людях, переживать и волноваться, нервничать, принимать решения, от которых зависело, вернутся солдаты из Афгана домой или нет.

Можно было до бесконечности ругать этих призванных с разных уголков Страны Советов на действительную военную службу пацанов, но Шарагин ругал их сейчас про себя так же, как порой ругал и вслух, за провинности и за мелочи, на которые солдаты плевали, но которые запросто приводят человека на войне к гибели, ругал и в то же время подспудно симпатизировал каждому в отдельности, грустил, когда, оттрубив два года, покидали его взвод окрепшие парни, будь то в Союзе или здесь, в Афгане.

Ценил Шарагин то необъяснимое и уникальное явление природы, что зовется советский, русский солдат.

...откуда берутся у советского солдата порой полное равнодушие к смерти, храбрость безграничная, отчаянная отвага?... у афганского вояки совсем не так... попробуй сказать ему, что надо ехать из Кабула в Кандагар, он же ни за какие деньги не поедет, каждый из них, из афганойдов, только за собственную шкуру дрожит, а мы охраняем их покой, мы за них всю грязную работу делаем, мы идем тут, как папа Карло... потому что они все трусы, а наши пацаны рвутся в бой... что это – романтика? да нет, насмотрелись они, и почему-то опять лезут... дурачество? не дураки они, чтобы так просто жизнью разбрасываться... долг? нет, это для газет, пустые слова... безрассудство русское? отчасти... не понять это никому... так же, как не понять никому загадку русской души, не разгадать...

...хватит, Шарагин, философствовать, делом надо заниматься, войной, а не рассуждать... с чего это я начал? ах, ну да – о безмерной храбрости советского солдата...

Как бы ни уводил себя с философского лада Шарагин, возвращался обратно в раздумья. Перевернулся на другой бок и стал разглядывать броню БМП, облезшую зеленую краску, прилипшую высохшую грязь, толстый слой пыли, такой же в точности, как, наверное, и у него в легких.

Люди советские в Афгане давились пылью, захлебывались и отхаркивали ее из себя вместе с вязкой желтой слюной.

Неожиданно для себя он подумал, что упоение войной, романтика сражений начинают накапливаться в людях с детства, когда обрушиваются на ребенка кипы книг о войне, мозги едва успевают переваривать героические фильмы, где солдат – непременно победитель, где убивать врага – здорово.

...Стоило солнцу приспуститься с зенита, как солдатня, затихшая было на какое-то время, ожила и, продирая сонные глаза, зевая, выползла из нор, а вместе с ожившей солдатней вновь раздались смех, ругань, окрики.

Накануне, при выдвигении роты к будущим позициям, бойцы схулиганили малость – добыли дополнительный паек и весь первый день, пока окапывались и прятались от «афганца», скрывали сей факт от командира.

На узкой горной дороге боевые машины пехоты врезались в стадо коз.

Пастухи – один взрослый подозрительным показался Шарагину, крепкий, *...точно «душара»... в тылу у нас останется, гад...* а второй – мальчонка – гнали животных навстречу. Афганцы перепугались, что подавят шурави коз, засуетились, забегали. Шарагин остановил бээмпэшки. И вот в этот самый момент шустрый и наглый оператор-наводчик на головной бронемашине, ефрейтор Прохоров, открыл сзади десантный люк и схватил козленка.

Шарагин в тот момент ничего и не заметил, только обернулся, услышав, как стукнул, закрываясь, тяжелый люк, и подивился, что одна коза подбежала и начала бить рогами по броне.

...глупое животное... чем ей наша бээмпэ не понравилась?..

Козленок просидел в машине, грызя втихаря мешок с картошкой. Половину слопал и чуть было к тротильным шашкам, которые держали для рытья окопов, не подобрался. За пожиранием дефицитной картошки и застукали козленочка Прохоров с Панасюком, выволокли, матеря, из БМП под восторженные вопли бойцов. Напуганное животное шарahalось в кольце ног и отбрасываемых людьми теней, пока здоровяк Титов не повалил его наземь, подмял и не прирезал штык-ножом.

На всех, естественно, свежего мяса не хватило. Молодым пришлось довольствоваться перловой кашей, но и ее уплетали вечно голодные чижары резво, с чавканьем и отрыжкой, шустро уминали, вылизывая и ложки, и котелки, торопились набить пузо харчами, пока кто-нибудь из старших товарищей не сдернет с места.

С почтительного расстояния наблюдали они, как смакуют старослужащие козлятину, обсасывают каждую косточку, картошечкой печеной закусывают: ворошат ее палкой в золе, выкатывают горяченькую, сдирают обгоревшую кожуцу, а белую начинку в рот и опять жадно мясо лопают.

– Сейчас бы, это самое, портвешка, а, Панас? – облизнул жирные пальцы ефрейтор Прохоров.

– Не трави душу! Вот в Союзе от вольного погудим! И портвешок и водяры накатим!

– Оттянемся, на фиг!

– Вернемся в полк, и больше с койки не встану. До самого дембеля пальцем не пошевелю! – Панасюк откусил кусочек картошки. – Если б не эти боевые, сейчас бы к отправке в Союз готовились...

Притихли, дожевывая засохшие галеты, молодые бойцы, прислушиваясь к дедовским фантазиям, завидуя. Хлюпали чифирно-черный чай, что перекипятили на самодельном мангале – цинковом ящике из-под патронов. Обсуждали, как будут делать праздничный торт из печенья и сгущенки. Принято так, чтоб на дембель торт самодельный приготовить. Традиция. Где ж в Афгане настоящий взять? Сладкие думы о дембеле отражались на лицах Панасюка и Титова, а Прохоров слонялся по позиции, прихлебывал чай, обжигая губы об алюминиевую кружку, покрикивал то тут, то там на молодых.

Отдыхавший после ужина с сигаретой во рту Шарагин услышал одиночный выстрел.

– Ну-ка узнайте, кто стрелял, и доложите! – приказал он рядовому Мышковскому, который вздрогнул от выстрела, а еще больше от резкого командирского голоса.

...физиономия такая, будто в детстве лицом на асфальт упал... он терпит, который уж месяц терпит дедов... ничего, Мышковский, мы сделаем из тебя десантника...

– Ефрейтор Прохоров стрелял, товарищ лейтенант, – доложил запыхавшийся от бега солдат. – Чтобы духи из кишлака нос не высовывали. Профилактика, сказал.

Вначале, для разминки, баловались – по камням, по кустикам палили, пристреливались с высоты горки. Надоело просто так. Предложил тогда Панасюк спор, чтоб веселей было:

– На пять чеков давай! Давай, Прохор, кто ишака того завалит.

Прохоров промахнулся, расстроился, обозлился вконец. Панасюк, который ишака шлепнул с первого выстрела, отвалился назад, на камни, вытащил из пачки губами сигарету, а неудачник-дедушка, весь на взводе от досады, рыскал прицелом по кишлаку – надеялся, что высунется кто-нибудь живой, животное какое домашнее в прицел попадет или афганец, и тогда можно будет по новой с Панасюком замазать, пять чеков – целых ПЯТЬ чеков! – отыграть.

Шарагин после чая пошел отливать и следил, как возятся с винтовкой дедушки, как надулся, выпучил глаза и покраснел Прохор, как полез в карман, вытащил и протянул сержанту деньги. Застегивая на ходу пуговицы ширинки, побрел он к стрелкам. Захотелось самому пострелять.

– Прохор, гляди, старуха выползла! Нет, чуть правее, – подсказывал сержант. – Вон поковыляла вдоль дувала.

– На тех же условиях? – заволновался Прохор.

– Конечно! Война идет – не хера по улице гулять! Так ведь, тварыш лейтенант?

– Кишлак все равно приговоренный, – добавил Титов. – Сколько уже долбила его артиллерия. Духовский кишлак, правильно, товарищ лейтенант?

– Пожалуй, так...

– Щас, сделаем душару! – веселился Прохоров. В такую мишень, едва двигающуюся, разве можно не попасть?

Солнце клонилось к закату, и женщина, скрытая под паранджой, отбрасывала длинную тень, которая тянулась следом, цепляясь за дувал, словно не пускала, зная, что случится беда.

– У-у-х! – улетел в кишлак 7,62.

Женщина застыла, будто задумалась о чем-то, и стекла на землю, перевернулась на бок и замерла навсегда.

– Недолго мучалась бабуса! – заржали подтянувшиеся к позиции солдаты.

– Может, вы теперь, тварыш лейтенант? – предложил Панасюк. – Я вам, хотите, разрывной заряду?.. – А сам отступил на несколько шагов за сияющим от успеха Прохоровым, отдал ему пять чеков. Наблюдали они, как устраивается на спальном мешке командир, как, широко раскинув ноги, ищет упор локтями.

– Вон, вон там, товарищ лейтенант, слева у дувала, – подсказывал прилипший к биноклю Титов. – Дух у дувала видите?

– Вижу...

Не остановил вошедших в раж дедов, согласился молча, что кишлак духовский, приговоренный, значит, к смерти, и нечего поэтому жалеть жителей.

Согласился и потому теперь сам стал участником этой «игры» – лежал с винтовкой, уставившись сквозь прицел на старика, который выглядывал время от времени из-за дувала.

...прав Панасюк: война идет – не фига по улице гулять... война идет, значит, либо мы их всех уничтожим, либо они нас прикончат... ведь эти же самые «мирные жители», и стар и млад, ненавидят нас, дай им шанс – кишки вилами выпустят, наматают на вилы и оставляют всем напоказ... духам, суки, помогают, шляются туда-сюда, вроде на поле идут работать, а сами, твари, замыкатели на фугасах расставляют...

Шарагин прицелился и все-таки решил для себя, что не станет убивать старика, что выстрелит над головой, и на выдохе потянул на себя курок.

Стрелял он из винтовки лучше всех на курсе. Попасть с такого расстояния несложно – больно уж легкая добыча.

... живи, дед...

– Спорнем, промахнется... – шептались за спиной у командира бойцы.

– ...

– Сдрейфил?

– Нет... Давай, на десять чеков, – голос Панасюка.

Шарагин вновь прицелился. Капелька пота отделилась от волос, поползла мимо уха, соскользнула на щеку и дальше на приклад винтовки. Он затаил дыхание. Он не понимал, отчего вдруг засомневался. Кожей пальцев чувствовал Шарагин, как упрямится курок, не соглашался.

– ...долго целится, точно мазанет, – дразнил голос Прохорова.

Грохнул выстрел. Старик оторвался от дувала, падая вперед всем телом, протянул пару шагов по инерции.

– Ха! Загнулся! – возрадовался Панасюк.

– Вот это класс! Точно в чайник! – поддержал Титов, впившись биноклем в кишлак. – Голову снесло, как не бывало! Осталась одна челюсть на шее висеть!..

* * *

Бронемашины зажали селение в тиски; словно ввинчиваясь внутрь, полезли на прочесывание кишлака десантники. Солдатики группами растекались по пыльным кривым улочкам.

...пустой кишлак, точно пустой... и артиллерия лупила по нему... давно все ушли отсюда... хотя, кто их знает?..

У крайнего дувала лежал ишак, вздувшийся на солнцепеке от гнилых соков и смахивающий на бочку, к которой прикрутили для потехи резные балясины – ноги. Животное источало удрушающий запах, и пакостный, липкий душок этот расползлся на десятки метров.

Сдерживая рвотные позывы, солдаты обходили его стороной, будто опасались, что затвердевший, как цементная стяжка, набухший до уродства ишак вдруг лопнет и окропит их вонючей трупной гнилью.

Цепочки вооруженных людей втягивались в кривые улочки, где не хватило б простора для бронетехники – непременно застряли бы БМП и сделались легкой добычей.

Новички, пугливо озираясь, крадучись бочком, выставив вперед темно-стальные, переливающиеся на солнце стволы, ожидая в любую секунду нападения, стопорили движение, подпирая спинами глухие стены дувалов. Без опыта, действуя лишь на страхе и азарте, замешенном на тревоге перед неизвестностью, они надеялись только на реакцию, рассчитывали незамедлительно застрочить и выпустить весь магазин.

Бывалые же бойцы, как хищники, прислушивались, оценивая каждое мгновение свое положение относительно вероятного противника, тут же прикидывая наилучшее и наиболее близкое укрытие, чтоб, если уж и выстрелит кто, то первым делом юркнуть туда. Нутром внюхивались они в настроение кишлака, в дыхание его и выверенными движениями лезли глубже, чтобы, закончив «чистку», вырваться из молчаливого, затаившего на советских зуб чужого саманного царства.

Местами шли скоро, но осторожно, опасаясь мин и растяжек. Щупали глазами землю. Лабиринты дувалов уводили в самое чрево кишлака.

Частично поселение развалилось от артобстрелов: рухнули некоторые крыши, попадали серые глинобитные стены, на месте окон зияли черными пятнами дыры. Кое-где, на внешне уцелевших домах, висели маленькие китайские замочки – верный признак, что хозяева ушли, сбежали, предвидя недоброе, но надеялись когда-нибудь вернуться.

– Проверить!

Вышибли дверь.

– Сычев, за мной! – командовал Шарагин. – Титов, Мышковский! Проверить напротив, во дворе.

– Все чисто!

– Спеклись духи!..

Капитан Моргульцев снял панаму, вытер рукавом пот со лба, развернул на броне карту: – «Чесать зеленку» – все равно что редкой, бляха-муха, расческой выгонять из головы вшей... Ладно... С этих направлений будет действовать афганские части. Нам приказано

двигаться вот здесь, – он ткнул пальцем в покрашенное зеленым цветом пятно с прожилками дорог.

– Ну их в жопу, «зеленых»! – Чистяков харкнул и сплюнул сквозь зубы, раздавил плевок ботинком. – Что мы, без афганцев не можем? Всех духов распугают!

...хочет в последний раз кровью напиться, а духов нет, некого убивать... – мелькнула догадка у Шарагина.

– Товарищ старший лейтенант! – взвизгнул замполит. – Хватит вые... – он оборвал себя на полуслове, – хватит настроение показывать! Это наши боевые союзники!

Чистяков прикусил губу, исподлобья глянул на Немилова, выпалил:

– Тебе что, больше всех надо?!

– Отставить, бляха-муха! – вмешался Моргульцев. Он поставил каждому взводному задачу: – По машинам!

– Я это так не оставлю! – возмутился замполит. – Я не посмотрю, что ему заменяться! Это что же за пример для остальных?!

– Не трогай его, – по-дружески посоветовал Моргульцев.

Бээмпэшка Шарагина перепрыгнула через арык, краем брони резанула дувал, заспешила прочь от кишлака.

Они полезли дальше в долину и в «зеленку», вдыхая нездоровую жирную пыль брошенных духами кишлаков, распахивая гусеницами бронемашин бывшие духовские владения, вытесняя и преследуя духов. Продвижением своим они отбрасывали банды от насиженных мест, выдавливали из долины, гнали на подобных себе же охотников, хотя и знали, что, как только закончится операция и они уйдут, те духи, что вырвались из кольца, и с ними новые вернутся и обживут все заново, и никогда не будет в этих краях главенствовать революционная власть.

Неподвластные, непокорные, замеченные в измене и неверности иногда просто по ошибке, свойственной военному времени, кишлаки методично обрабатывались советской авиацией и артиллерией. Орудийные залпы валили, выкорчевывали мусульманские надгробья, трепещущие на ветру флаги. Потрошили снарядами кладбища и жилища нехристей, очищали афганские горы, равнины и пустыни от душманов, от скверны, расчищая место для строительства новой, светлой жизни. Надеялись шурави когда-нибудь окончательно стереть мятежные селения. Кишлаки рушились, горели, разваливались, но почему-то не исчезали совсем. Как зарубцевавшиеся язвы лежали они и на горных склонах, и в «зеленках», и вдоль дорог – зловещие и не прощающие того, что с ними сделали, готовые отомстить за жестокость, с которой в одночасье, без сомнений и колебаний, расправлялись с ними пришедшие с севера, привыкшие всегда поступать по-своему шурави.

За длинным, местами сильно надкусанным, словно яблоко, дувалом одиноко торчало корявое дерево, обезглавленное во время бомбо-штурмового удара. Чуть живое, оно пугливо выглядывало после ураганного обстрела.

...как тот старик из-за дувала...

Привычное, относительно безопасное течение жизни, сопровождавшееся гулом соляных двигателей и дрожью брони, вдруг оборвалось. Из-за дувала по первой БМП шандарахнул гранатомет.

...будто огненный шар... отделился от дувала рядом с тем местом, где торчало дерево, а через мгновение броня под Олегом вздрогнула. Угодили в каток, машина разулась – слетела гусеница.

Тю-тю-тю – свистели обидой промахнувшиеся духовские пули. Солдаты сыпались вниз, жались к земле, пластались в пыли, ныряли под гусеницы.

Каждый хоронился как мог.

Захлебываясь от ненависти и желания покосить побольше людей, оголенных, раскрывшихся в прыжке с брони, колотил пулемет.

Сержанта Панасюка срезало на лету. Он спружинил с машины и рухнул тут же вниз мешком, брякнулся на спину; каска укатилась прочь, рука вцепилась в автомат.

И вскрикнуть не успел сержант, только едва слышно, как-то для себя одного, крикнул, прежде чем натолкнулся всей тяжестью длинного костлявого тела на твердь земли.

В накатившейся предсмертной тишине впервые за полтора года войны расслабился и успокоился сержант, будто домой вернулся и завернулся в одеяло, укутался с головой и заснул.

Подполз здоровяк Титов, уволок его за БМП, содрал броник и тогда только увидел проступившее на ткани красно-черное пятно.

Бой отделил взвод от остального мира, оглушив автоматным огнем, ослепив разрывами; густым роем метался свинец.

Шарагин растратил второй рожок, заменил его, обернулся, не понимая, почему молчат пушки БМП. Башня ближайшей крутилась вправо-влево. Контуженый, словно пьяный, Прохоров не разбирал, откуда ведется огонь, где засели духи.

Наконец, наугад, залепил несколько снарядов: к-бум! к-бум! к-бум!

К-бум! к-бум! с запозданием изрыгнула в кишлак несколько снарядов и вторая боевая машина пехоты.

...так им, сукам!.. вдарь еще разок!.. пока не очухались!..

Легче сразу стало на душе. Теперь колошматили в ярости из всех стволов.

Покрывшись разрывами, кишлак смолк. Видимо, духи отходили. Но солдаты продолжали поливать местность из всех имеющихся в наличии видов оружия, будто осатанели. Затем стрельба стала угасать, поочередно затихали раскалившиеся стволы автоматов.

Смерть, уже было навалившаяся из ниоткуда, почти восторжествовавшая, отступила из-за ожесточенного упрямства солдат, успев прихватить, утянуть с собой сержанта Панасюка.

Он лежал с легким выражением на лице то ли обиды, то ли досады. Он лежал, поджав ноги и переломившись в поясе, как сухой треснувший сучок, такой хрупкий и ненужный для жизни, простреленный в бок как раз в то место, где не прикрывал бронежилет.

Шарагин психовал, материл радиста, тот, брызгая слюной, вызывал вертолет. Небо-то было чистое, ни облачка, а «вертушки» не шли. Время бежало, вырывалось из-под контроля, и вместе со временем, вместе с быстротекущими минутами, жидкими циферками, сменяющимися друг друга на купленных к дембелю часах на руке сержанта, черных кварцевых часах в толстом пластмассовом корпусе, вместе с теми минутами гасла всякая надежда.

– Где же они, гады! – метался Шарагин, и никто не мог его успокоить. – У меня «карандаш» загибается! – кричал он в пустоту эфира.

Титов, Прохоров, другие солдаты всматривались в далекий перевал, надеясь выискать вертолеты, и переводили взгляды на Панасюка, замечая, как отчаливает он, не попрощавшись, на тот свет, как сдается оказавшаяся в тупике, не в силах ни за что зацепиться, жизнь. Испуганно тарасились на умирающего товарища молодые бойцы, словно и не признавали его больше – настолько беспомощным, безвластным над ними теперь выглядел сержант.

Солдатня разбрелась, курили, жевали сухпай, приглушенно разговаривали, и каждый про себя думал: во не повезло...

От бессилия сделать что-либо взводный моментами впадал в отчаяние.

Когда сержант последний в жизни раз приоткрыл глаза, Шарагин подумал:

...все будет хорошо... погода, не умирай только...

Хотя и очевидно было, что не выкарабкается сержант. И в ту же секунду где-то и вовсе запрятанная пока, намеком, тоненькой иголкой уколола мысль о смерти собственной. От мысли той он тут же отмахнулся, не веря и не соглашаясь с подобной участью, однако, на всякий случай, пожелал самому себе конец быстрый, без мучений.

За пятнадцать минут до прихода «вертушек» Панасюк умер. лейтенант Шарагин сидел рядом с мертвым бойцом. Изможденный и опустошенный, он молча проклинал впервые за время службы в Афгане войну, ругал себя, мучился, будто мог он остановить те пули, что впивались в человеческие тела, или разогнать туман на другом конце перевала, чтобы быстрее пришли вертолеты и успели донести сержанта до госпиталя.

Глава 4. Чистяков

Епимахова Олег впервые увидел, когда вернулся в полк после проводки колонны и, усталый, тащился к модулю, мечтая только о двух вещах – успеть помыться в бане и опрокинуть стакан водки...

Новичок в лейтенантских погонах, одетый в «союзную» форму, которую в Афгане давно не носили, заменив ее на специальную – «эксперименталку», так сказать, для новых военно-полевых условий, – следовал за солдатом к штабу полка. Солдат нес чемодан, перекосившись под его тяжестью, и сумку, а лейтенант, зажав под левой рукой шинель, в новеньком кителе ступал следом.

...никак заменик Женькин прибыл... хорошо, Женька остановился в дукане, несколько бутылок купил... как чувствовал, бача, что проставлять придется...

Шарагин отпер висевший на двух загнутых вовнутрь гвоздях китайский замочек, купленный в дукане после того, как они потеряли единственный ключ от врезного замка, и вошел в тесный предбанник.

Поставил у стенки автомат, опустил на пол рюкзак, дернул устало шнурки, принялся стягивать с ног ботинки. Ленясь наклониться и расшнуровать до конца, цеплял носком за задник, пока не стащил с одной и другой ноги.

Отбросил занавеску, отделявшую предбанник, в котором с трудом умещался один человек, протиснулся в комнату, стены которой украшали фотографии родных и картинка из журнала «Огонек». Здесь жили взводные и старшина роты.

В комнате стояли стандартные железные кровати вдоль стен, стол, три стула, покосившийся без дверцы шкаф для одежды. Под окном тянулась отопительная труба и тонкая, плоская батарея, которая не раз протекала, потому как насквозь проржавела. Из батареи в нескольких местах торчали выструганные деревянные клинья, забитые в места, где вода вырывалась наружу.

Зимой они часто мерзли, кутались в бушлаты – не помогали и самодельные нагреватели. С потолка одиноко свисала лампочка Ильича. Бушлаты висели на вбитых в стену гвоздях. На столе, рядом с двухкассетным магнитофоном, разбросаны были старые газеты, пепельницу заменяла наполовину обрезанная жестяная банка из-под импортного лимонада «Si-Si».

...полотенце взял, мыло, сменное белье... порядок...

Форсунка с боку бани молчала, остывала.

...опоздал...

Обычно она громко шипела, выбрасывая пламя, нагревала парилку.

Шарагин освободился от задубевшей формы, пропахшего потом и соляжкой белья, давно не снимавшихся носков с дыркой на большом пальце, вонючих, прилипших, присохших к усталым от путей-дорог ногам. Выбрасывать носки он не стал. Постирал вместе с бельем, повесил сушиться в парилке. Вода текла из соска душа чуть теплая, без напора, и тем не менее он наслаждался. Стоял долго под худосочной струей, будто хотел вымыться насквозь. Тщательно соскребал мочалкой с тела въевшуюся грязь, словно вместе с ней снимал накопившуюся за время боевых усталость и нервозность, мылил голову, ощупывая отрастающие волосы.

...еще раз, что ли, побриться наголо? хватит...

Стоя под холодным душем, скоблил он щеки, ругался, что плохенькое попало лезвие, сразу же затупляется от жесткой многодневной щетины.

...отряд не заметил потери бойца... даже как следует расквитаться с духами времени не хватило... духи хитрые попались, уходили от боя горными тропами, подземными ходами... а Чистяков своего добился, пострелял напоследок... батальонная разведка в плен взяла троих... одного душка шлепнули по дороге...

Гибель Панасюка все эти дни преследовала Шарагина своей простотой и неожиданностью, а война, ранее наполнявшая воображение особым колоритом, целой гаммой восторженных красок и увлекательным разнообразием звуков, обрела блеклый, почти однотонный окрас.

Если раньше она подразнивала и манила беспорядочной стрельбой, попугивала изда-лека разрывами снарядов, предупреждала о скрытой опасности минными подрывами, кото-рые оставляли контузии, но не калечили и не убивали, то теперь впервые царапнула за живое, резанула очень больно и всерьез. Война вдруг не на шутку навалилась отовсюду – настоя-щая, беспощадная. Отныне смерть стала подглядывать за каждым в отдельности, бродить рядом, шептать что-то, неприятно дышать холодком в шею.

Баня остывала. Шарагин плеснул несколько ковшиков на камни, лег на верхней полке, потянулся, расслабился. И чуть было не заснул. Однажды подобное уже случалось с Паш-ковым, который, крепко выпив, отправился париться да и заснул на верхней полке. Если б не приставленный к бане боец, Пашков превратился бы в вареного рака. Прапорщик, когда его добудились, чуть шевелил усами и никак не мог сообразить, где же он. Потом неделю пил только минеральную воду.

Когда Шарагин достаточно размяк до приятной свежести в теле и в мыслях *...будто заново родился...* и уже стоял в раздевалке на деревянных настилах босой, в одних трусах, тут-то и заломило всего внутри, скрутило. Заговорило мужское.

Чтобы не оконфузиться, он пригнулся, сел на лавку, поскорей натянул брюки.

Последние месяцы он и забыл про это, а нынче, после бани, потянуло на женщину. И так сильно, что зубы скрипели!

...двумя руками не согнешь...

В полку женщин по пальцам пересчитать можно, да и те давно все распределены. Спа-рились, пообжились с офицерами, не подступиться.

На улице Шарагин закурил.

...«слону» легче!.. те из них, кто позастенчивей, чтоб не застигли врасплох, дробят скрытно, на посту, когда еще солдат один останется? или в сортире, по соседству с гов-ном... а мне что делать? за деньги я не умею... только водкой остается глушить!.. у Женьки как-то легко получается, без разведки – в бой, и одержал победу над очередной барышней... и на следующий день забыл, а я так не могу...

...что вообще нужно мужику на войне? – рассуждал он, возвращаясь из бани, – «жратва, ордена, водка и бабы!» – как говорит Моргульцев... со жратвой более-менее, орденов на всех не хватает, впрочем, как и водки, и особенно баб... завезли б на всех, чтоб не думать об этом!.. хорошо, хоть заменичик объявился, нальют!..

Дневальный на тумбочке вытянулся, доложил, что прибыл заменик старшего лейте-нанта Чистякова и что рота отправилась на прием пищи.

Шарагин развесил постиранное белье, лег на кровать, повернулся к стене, к приколо-тому снимку Лены и Настюши. Серенький картон был неровно обрезан по краям до размера ладони, потому что некоторое время он носил его в кармане.

Жена и дочка застыли в несвойственных, скованных позах перед объективом, чрез-мерно прихорошившись перед съемкой.

Пролежал он в покое недолго. Одиночество в армии – большая роскошь.

Дверь заскрипела. Вошел старший лейтенант Иван Зебрев, командир третьего взвода, и в радостном ожидании предстоящей пьянки сообщил:

– Заменщик Чистякова прибыл, – и добавил любимое: – Улю-улю!

– Знаю, видел.

– Женька вне себя от счастья. Пылинки с парня сдувает. Умора! В баню отказался идти, взял лейтеху под руки и скрылся в неизвестном направлении. Слушай сюда! Значит, так. Мои «слоны», грым-грым, сегодня в наряде по столовой, все заряжено, все притарят сюда, честь по чести, после отбоя. Посидим, старик, классно, грым-грым! Давно чего-то мы не напивались. А? Ты чего-то сказал? Ты что, заболел?

– Устал. Есть что-нибудь выпить прямо сейчас?

– Улю-улю! – Зебрев нырнул под кровать Чистякова. – Сколько тебе? – В руках у него была бутылка.

– Грамм сто...

Тяжело было пить технический спирт. Даже наполовину разбавленный соком или водой, отдавал он то ли керосином, то ли резиной, вставал поперек горла, а после бутылки такой гадости люди покрывались красными пятнами.

– Хавать пойдешь? – спросил Зебрев.

– Нет, спасибо, Иван. Раз вечером будет закуска, не пойду.

– Ну ладно, я пошел мыться – и на ужин.

– Там вода заканчивается.

– Бывай!

Какое-то время Олег вновь остался наедине. Расслабившись от спирта, он стал перечитывать последние письма жены. Лена никогда – ни в жизни, ни тем более в письмах – не жаловалась на сложности, писала только о хорошем, даже если этого хорошего было с крупинку за месяц. Писала, что любит его и ждет.

Рассказывала, как смешно говорит Настя, как быстро она меняется, как забавно наблюдать за детским восприятием мира, и непременно в каждом письме не забывала обмолвиться, что дочка очень любит папу, скучает.

Самому надо было бы сесть за письмо, но Олег никак не мог настроиться на правильный тон разговора с женой. На бумаге обычно складывались фразы общие, но и своей общей теплотой достаточные для человека близкого, переживающего разлуку и беспокойство. Писал он обычно сдержанно, коротко, из желания сберечь главные слова до возвращения.

...Лена поймет, Лена простит немногословие...

Вместить же в письмо что-то скрытно-сентиментальное не решался из-за недоверия к армейским почтовым службам. Почта никогда не отличалась аккуратностью, особенно в военное время. Письма из дома часто опаздывали на неделю, а на оборотной стороне дважды встречался штамп «письмо получено в поврежденном виде». Это означало, что его вскрывали, проверяли, возможно, читали. Иногда письма вообще не доходили. В таком случае предполагали, что какой-нибудь стервец-солдат на почте в поиске денег – а в конвертах часто их пересылали – распечатал письмо и, ленясь заклеить, выкинул. Гршили и на особистов. А он не хотел, чтобы про его любовь читал какой-нибудь сотрудник особого отдела, желая узнать, о чем это там думает гвардии лейтенант Шарагин.

В казарме, стоило ступить старшему лейтенанту Чистякову на крыльцо, начался переполох, рапортовали один за другим бойцы наряда. Почти дрессировкой приучил он их к этому, по струнке заставлял стоять.

Женька был «под мухой», покраснелся,

...где-то уже успел хряпнуть... вталкивал в комнату лейтенанта в союзной форме:

– Олечка! Ты чего лежишь? Подъем! У меня сегодня праздник! Глянь, кого я привел – заменщика!

– Очень приятно, Николай Епимахов, – проговорил новичок, застряв от нерешительности в предбаннике возле собственного чемодана.

– Проходи, проходи, – затаскивал его в комнату Чистяков. – Садись, скоро здесь будешь полным хозяином.

– Куда?..

– Да сюда, на стул. Стаканов надо побольше принести, – суетился Женька.

Он полез под кровать за бутылкой, удивился, что она уже почата. – От, бля, на полчаса отлучился!

– Что случилось? – не понял Олег.

– Водку кто-то скоммуниздил!

– Это я приложился.

– А-а... Ну... бтыть! Правильно, – одобрил Чистяков. И уже Епимахову: – Ладно, чижара, пить потом будем. Пошли тебе «хэбэ» все-таки получим. А то разгуливаешь по полку в союзной форме!

На проводах Чистякова Олегу сделалось грустно. С Женькой были связаны первые месяцы войны, Женька научил выживать в Афгане.

Правда, и новый лейтенант Шарагину понравился, и это обстоятельство частично сглаживало грустный настрой.

Было в Николае Епимахове что-то детское, сразу располагающее, что-то чистое, наивное – в том, как он смотрел на всех. Подкупала некоторая стеснительность, и то, как он намазывал на хлеб толстым слоем масло, а сверху – привезенное из дома варенье и сгущенку из дополнительных пайков, и как запивал все это чаем, в который положил кусков шесть сахара.

...интересно, как он вообще попал в армию?..

Епимахов сменил-таки союзную форму и теперь держался гордо, стараясь не помять выглаженную, но все равно местами топорщащуюся эксперименталку. По сравнению с формами других офицеров – выцветшими от множества стирок, почти выбеленными – епимаховская выделялась зеленовато-желтой свежестью, пахла складской пылью.

– Классная форма! – не мог нарадоваться лейтенант. Как маленький, играл он с липучками на карманах. – Удобная, и карманов столько придумали...

– Удобная, – вставил Иван Зебрев, – только почему-то зимой в ней зело холодно, а летом запаришься...

Разливал Женька Чистяков как виновник торжества, он же и тост предложил:

– За замену! Долго я ждал тебя, бача!

...первые семнадцать тостов пьем быстро, остальные сорок девять не торопясь...

Примерно так обычно складывалось застолье.

В коротких промежутках между тостами расспрашивали новичка о новостях в Союзе: где служил, с кем служил.

Десантура – это одно училище в Рязани и несколько, по пальцам можно пересчитать, воздушно-десантных дивизий и десантно-штурмовых бригад на весь Союз нерушимый. Десантура – это как маленький остров, на который сложно попасть и еще сложнее вырваться, где все друг о дружке все знают: либо учились вместе, либо служили, либо по рассказам. Замкнутый круг. Десантура – это каста, это элита вооруженных сил, это жуткая гордыня, это страшнейший шовинизм по отношению к другим войскам.

...десантура – это как мифические существа, спускающиеся с небес... нет нам равных!.. «десант внезапен, как кара божья, непредсказуем, как страшный суд»...

– А водку, мужики, где покупаете? – решил расспросить новых друзей Епимахов.

– В дукане, – сказал Шарагин.

– А-а? – Епимахов покосился на свой стакан. Перепроверил: – А я слышал, что часто отравленную подсовывают...

– Не хочешь, не пей! – встрял Пашков. – У меня лично им-му-ни-тет, – он нарочно подчеркнул это слово, мол, знай наших!

– Чего страшась бачу! – заступился Шарагин. – Не посмеют они в Кабуле отравленной водкой торговать. Все же знают, где покупали, в каком дукане.

– Если что – закидаем дукан гранатами, – пояснил Женька Чистяков.

Заканчивалась третья бутылка, когда вошел командир роты Моргульцев и вместе с ним капитан Осипов из разведки.

Дверь в предбаннике резко распахнулась, кто-то закашлял. Очевидно было, что пожаловали свои, и все продолжали разговаривать и пить как ни в чем не бывало, кроме лейтенанта Епимахова, который заерзал на месте и отставил стакан, видно, испугавшись, что в первый же день его застукали с водкой.

Не в курсе пока был Епимахов, что любое появление в радиусе пятидесяти метров от модуля кого-либо из полковых или батальонных начальников сразу фиксировалось натасканными, привыкшими стоять на шухере бойцами из молодых и заблаговременно докладывалось офицерам роты, чтоб не попасть впросак, не загреметь за пьянку из-за того, что какому-нибудь там придурку в политотделе не спится.

Капитан Моргульцев был чем-то озабочен и оттого слегка агрессивен:

– Бляха-муха! Что вы мне наперстки наливаете. Достали! Ну-ка в стакан, давай, будете, половину. Еще один стакан найдется? – Прапорщик Пашков живо сбегал в умывальник, сполоснул кружку, поставил перед капитаном Осиповым. – Давай, мужики, рад, что все живы-здоровы! За тебя, Чистяков!

– Когда едешь? – хряпнув стакан, спросил Осипов.

– Теперь можно не спешить.

– Я думал, прямо завтра умотаешь.

– Завтра опохмелиться надо, передать все дела...

– Дела уже давно у прокурора! – попытался сострить Пашков, который был на подхвате: открывал новые консервы, убирал со стола.

– ...выспаться, собраться, – не прореагировал на шутку Чистяков. – Зайти со всеми проститься...

– А вечером опять нажраться! Ха-ха-ха! – подколот Пашков и заржал, как конь, на весь модуль.

– Ты, Шарагин, кстати, своих разгильдяев пошерсти как следует. Чую, собаки, на боевых чарс надыбали. Бляха-муха! – сердито заметил Моргульцев. – Накурятся дряни... Старшина наш, сам знаешь, ни хера не делает, – кивнул он в сторону Пашкова. – Только гранаты умеет в скорпионов кидать...

Все рассмеялись, кроме Пашкова:

– Никак нет, товарищ капитан, обижаете. У нас все в ажуре, никаких залетов!

– А вас не спрашивают, товарищ прапорщик! – рявкнул Моргульцев. – Нечего влезать, когда офицеры разговаривают!

– Старший прапорщик... – поправил Пашков.

Пашков никогда не обижался. Он был немолод и хитер, как все прапорщики.

Моргульцев как-то заметил, что «прапорщик – это состояние души», что «весь мир делится на две половины – на тех, кто может стать прапорщиком, и на тех, кто не может». Ротный старшего прапорщика Пашкова любил, но на людях кричал на него, чморил, как новобранца, обвинял во всех смертных грехах.

Пашков пил махом, не закусывая. По возрасту он был старше всех офицеров роты, но алкоголь, который он потреблял в избытке, оказывал на него эффект омоложения. Удивительно, что и с утра никто не замечал, чтобы прапорщик мучился с похмелья.

«Кость, – стучал пальцами по голове прапорщика Моргульцев, – что ей болеть!» На физзарядку Пашков выбегал после любой пьянки. «Не в коня корм, – обычно подтрунивал ротный, – не наливайте вы ему, без толку переводите драгоценный напиток! На халяву старшина и «наливник» с водкой одолеет за три дня запоя».

Щеки прапорщика после определенной «разгонной» дозы розовели, как на морозе, он оживал и наполнялся энергией, как автомобиль, в пустой бак которого залили бензин. И если бы приказали в этот момент Пашкову, он поднялся бы на вершину самой высокой горы в Афганистане, миномет бы втащил на спине, и дрался бы один против десяти душар, и победил бы!

Любимым словом старшины было «Монтана». Оно означало все – и одноименную фирму, выпускающую популярные у советских джинсы, и восторг, и понимание, и согласие с говорящим, и радость, и счастье. Если же он был по той или иной причине недоволен, то говорил: «Это не Монтана!» Водка сегодня показалась ему чрезвычайно вкусной, настоящей, неподдельной, и он довольно произносил, вытирая усы:

– Монтана, настоящая Монтана!

Пашков намазал на хлеб толстым слоем масло, положил сверху добрый кусочек ветчины, откусил. От удовольствия скрытые под усами губы вылезли наружу.

– Якши Монтана! Дукан, бакшиш, ханум, буру! – На этом познания старшего прапорщика в области местных наречий заканчивались.

– Что вы сказали? – переспросил Епимахов.

– Народная афганская поговорка, – с умным видом ответил Пашков.

– Дословно: «Магазин, подарок, женщина, пошел вон!» – перевел Моргульцев. – Больше ему не наливайте!

– Это почему же?

– Потому что каждый раз, как я слышу от тебя эту идиотскую фразу, у тебя запой начинается!

Иван Зебрев от водки морщился, и потому лицо его выглядело поношенным, усталым. Он повторял:

– Как ее проклятую, грым-грым, большевики пьют?

На что Моргульцев, как правило, откликался:

– Да, бляха-муха, крепка, как советская власть!

По ночам Зебрев иногда, матерясь, командовал боем, отчего просыпались Шарагин, Чистяков и Пашков; и все они понимали, ни разу не обмолвившись между собой, что Зебрев, если не убьют его, будет следующим командиром роты, потому что в этом невеликого роста, невзрачном, сереньком на вид человечке сидел упрямый, добросовестный офицер, который умением своим, и трудом, и преданностью армии поднимется по должностной лестнице до командира батальона. Такие люди рождаются, чтобы со временем занять определенное место в вооруженных силах. Иван Зебрев родился для того, чтобы стать комбатом, и по всем законам он должен был остаться комбатом и в тридцать, и в сорок лет, и на пенсию уйдет, а комбат в нем жив будет. На данном же этапе Зебрев мечтал о капитанских погонах, потому что, как он сам не раз подчеркивал, и в этот вечер повторил специально для Епимахова:

– На капитанских погонах, грым-грым, самое большое количество звездочек...

Женька Чистяков всегда запивал водку рассолом. Отказавшись от открывалки, он локтем вдавил крышку на банке, большими пальцами подковырнул ее, повыдергивал вилкой

огурцы, словно рыбу в пруду трезубцем прокалывал, навалил огурцы в тарелку, а банку с рассолом поставил подле себя и никому не давал.

Замкомандира роты по политической части старший лейтенант Немилев никогда не допивал до конца, оставлял на доннышке. Немилова офицеры и солдаты роты не любили, не вписался замполит в коллектив. С первого дня он никому не понравился из-за маленьких, хитрых, вдавленных глубоко внутрь черепа затаившихся глаз. По всему видно было, что приехал он в Афган из соображений корыстных и честолюбивых и что в душе наплевать ему на сослуживцев, что презирает он всех. К тому же, будь он совершенным трезвенником, как порой следовало из пламенных выступлений на собраниях, товарищи отнеслись бы к нему с известной долей недоверия, но тем не менее, возможно, простили б, сочтя за блажь, а поскольку Немилев всего лишь рьяно играл в принципиального коммуниста, следовавшего указаниям партии и нового генсека, товарища Михаила Сергеевича Горбачева, провозгласившего решительную борьбу с пьянством и алкоголизмом и повелевшего даже свадьбы проводить без шампанского, друзья-товарищи презрительно воротили от замполита нос.

И все же, несмотря на надменность, высокомерие и показушные цитаты, не брезговал старший лейтенант Немилев выпивать по поводу и без, потому что выпить в Афгане всякому хотелось, но собственные деньги тратили на водку не все. При этом он чаще всего в компании молчал, что только лишние подозрения вызывало.

В целом отношение к политработникам было всегда неоднозначное, часто неуважительное, как к пятому колесу в телеге. Не любили их и отодвинуть от себя старались подальше, отгородиться. Хотя были и такие комиссары, что жили с командирами душа в душу, и дело делали исправно, и геройствовали на славу родине. Шаррагин, безусловно, слышал о подобных людях, но сам лично за время службы таких не встречал.

Николай Епимахов после каждого тоста долго готовился и, выдохнув воздух, вливал в себя дозу с трудом, и по всему видно было, что он непривычен к выпиванию в больших количествах, но старается угнаться за остальными. Новичок быстро захмелел.

Моргульцев – у которого нижняя челюсть чуть выдавалась вперед, отчего и дразнили близкие товарищи его, что вода, мол, во время дождя в рот попадает, – закусывал огурцами, хрустел и получал от этого неопишное удовольствие. У него был смешной лоб бугром, под которым заключено было много «крылатых фраз» и «подколов».

– Голова дана офицеру не для того, чтобы кашу есть, а для того, чтобы фуражку носить, – любил повторять ротный.

Служил он в Афгане второй срок. О первых месяцах после ввода войск в декабре 1979 года он никогда никому не рассказывал.

На капитана Осипова изначально не рассчитывали в этой компании, но легендарную «полковую разведку» приняли с радостью вопреки известной поговорке, что непрошенный гость хуже татарина.

– Непрошенный гость лучше татарина, – поправился Чистяков, когда увидел разведчика.

Осипов глотал водку, все равно что обыкновенную воду, иногда подносил к носу луковичу и занюхивал. Недавно его разведрота накрыла караван с большим количеством оружия. И как нельзя кстати подоспел за прошлые заслуги орден. Вот он и обмывал его который уж день. Осипов был невысок ростом, коренаст, крепкий орешек с жесткими волосами, подстриженными под ежик, с жесткими усами и чрезвычайно колючим и опять же жестким взглядом – взглядом одинокого волка. Даже будучи пьяным, разведчик сохранял эту жесткость, взгляд его не мутнел, а делался более колким.

– Василий, покажи орден, – протянул Женька Чистяков руку.

Капитан Осипов с некоторой неохотой расстался с наградой. Женька не собирался рассматривать «железку», у самого был такой же. Чистяков хотел приятеля испытать и потому спросил:

– Обмоем еще раз?

– Чего? – не дошло до Осипова.

– Давай еще раз. – Чистяков уложил орден в стакан и залил водкой до края, не пожалел для приятеля. – Ну-ка, слабо, блядь?

– Не слабо!

– Мой заменщик, – похлопал Чистяков по спине Епимахова и указал пальцем на разведчика: – Капитана Осипова не забывай, далеко пойдет. Легенда полка! Что там полка – дивизии! Легендарный, блядь, разведчик!

– Да ладно тебе!

– Этот человек скоро Звезду Героя получит. Я, блядь, сам слышал, командующий объявил: «Кто, блядь, первый «стингер» у духов захватит – сразу Героя даю!» Ты, бля, когда «стингер»хватишь, Василий?

– Работаем над этим.

– На, – протянул Чистяков стакан, и часть водки плеснулась через край. – Пей, Василий. Бог даст, и Героя получишь. Но это уже без меня. Я сваливаю отсюда... Хватит, навоевался! Всех афганцев не перестреляешь. Они, бляди, плодятся быстрее, чем мы успеваем их резать!

Капитан Осипов углубился мыслями в полный стакан водки так, как будто решил прыгать с высокого моста в реку, и вдруг задумался: снимать ботинки или ну их на фиг? Наконец собрался с духом и прыгнул... Он поперхнулся, но продолжал глотать. Волосы, подстриженные под ежик, будто напряглись и встали торчком. На горле выпирал кадык, который двигался, как затвор автомата, пропихивая водку. Стакан наклонился, поднялся вверх дном, вот уже орден осушился, заскользил по стенке, ухватил его довольный капитан Осипов зубами, расплываясь в улыбке, усатый, похожий на моржа. Взял орден пальцами, убрал в карман, откашлялся и закусил куском ветчины, нарезанной по-мужски – толстыми ломтями.

– Баста. – Осипов накрыл стакан рукой.

– Хозяин – барин, – развел руками Женька, начавший разливать под следующий тост.

– Свой литр я сегодня выпил... – закончил мысль разведчик. – Надо, господа офицеры, меру знать!

– Вот и я об этом твержу постоянно, бляха-муха! – продолжил тему Моргульцев. – Выпили норму, и по койкам!

Несколько месяцев назад Моргульцев вел себя иначе, проще, по-приятельски, и не ушел бы, пока все не допили. Нынче же, когда метил на должность комбата, выдерживал дистанцию, отгораживался от подчиненных. К тому же капитан считал, что прибывший в его роту лейтенант должен начинать службу со строгости и порядка, а не с пьянства. Но запретить праздновать отъезд Чистякова он при всем желании не решился бы.

Словно нехотя просидел Моргульцев еще с четверть часа, однако выпил за это время порядочно. Наконец, он поднялся из-за стола, сославшись якобы на дела, подхватил пьяного в дымину капитана Осипова. Засобирался и Немилов.

...давно пора...

На прощание Моргульцев налил рюмку, с сильным выдохом опрокинул, рыгнул и на ходу уже подцепил последний в тарелке огурец, хрустнул:

– Я пошел, мужики. Чтоб здесь, бляха-муха, порядок был! Шарагин, ты самый трезвый. Отвечаешь головой!

– Не беспокойся, Володь! Все будет в порядке, – пообещал Чистяков.

– Пока, Володя! – вторя Женьке, проговорил закосевший совсем от водки и технического спирта, еле ворочая языком и не соображая, что ротный еще здесь, лейтенант Епимахов. – Классный мужик наш ротный! И вы, мужики, все такие классные...

– Встать, товарищ лейтенант! – вбежал с перекошенным лицом из предбанника Моргульцев. – Смирно! Вы, товарищ лейтенант, что о себе возомнили?! Ты, лейтенант, сперва

свою бабушку научи через соломинку сикать! Ты кому это тыкаешь, сопляк?! Я с тобой детей не крестил и на брудершафт не пил. Вы поняли, товарищ лейтенант?!

Лейтенант Епимахов стоял, покачиваясь, собираясь что-то ответить, но вместо этого икнул. Офицеры грохнули со смеха, разрядив обстановку.

– Чего смешного-то? – не понял Пашков.

После ухода ротного Епимахова передразнивали и копировали. Он сидел сам не свой, вмиг протрезвев, покраснев, как первоклассница.

Все в комнате были пьяными.

...а когда напьешься, еще больше хочется, замучил бы кого-нибудь в постели...

Шарагин пил весь вечер по полной, налегая на закуску, и наблюдал, сам почти в разговор не вступая, за Чистяковым и Епимаховым.

Лейтеха давился, но продолжал хлебать водку из опасения осрамиться перед новыми товарищами. Он слушал рассказы о Панджшере, то и дело теребил пальцами пшеничного цвета усы, поправляя их кончиком языка, глаза его, несмотря на хмель, искрились интересом.

Чистяков был ростом ниже Епимахова, но сложен покрепче, накачанный.

Волосы его начали редеть, свисали на лоб короткими жидкими струйками, взгляд то медленно блуждал по комнате, скользил мягко, плавно, то замирал, тускнел.

Когда он упирался этим взглядом в собеседника, то по его выцветшим, как армейская форма, глазам было совершенно не ясно, переживает ли Чистяков то, о чем рассказывает, или нет.

Вспоминал хмельной Чистяков про ранение, как выковыривали застрявшие в разных местах осколки, и указывал пальцем на глубокую ямку в сантиметре от глаза:

– ...Еще бы чуть-чуть, блядь, и в роли великого полководца Кутузова можно было бы сниматься.

Историй разных о душманах Женька знал уйму и с удовольствием повторял для заместителя, дабы знал лейтеха, что здесь настоящая война идет, а не в бирюльки играют.

Афганцев называл Чистяков «обезьянами» и неоднократно повторял, что вырезал бы всех поголовно, будь на то его воля.

– Всех-то за что? – напрягся Епимахов. – Крестьяне-то простые разве виноваты?

...еще один приехал сюда правду искать...

– За что? – взорвался Чистяков. – За то! За то, блядь, что твои крестьяне наших раненых вилами добивают! И на базаре отрезанные головы вывешивают на обозрение! Скоты!

...наивный мальчишка...

Епимахов поерзал на стуле, затих, а Женька поведал ему, как пленного духа расстрелял, и Шарагин вспомнил, при нем это было, как всадил Чистяков в духа весь рожок. Афганец валялся бездыханный, а пули ковыряли тело.

...Женька смеялся, а потом сплюнул и попал духу на лицо плевком...

Новому лейтенанту, безусловно, слушать про войну всамделишную было интересно, в новость, но и странно немного, жутковато. Жутковато не от того, что боевые офицеры так запросто рассуждают о том, как убить человека, и бахвалятся этим, и не от натуралистичности описаний, а из опасения, что нечто страшное произойдет и с ним, как с командиром взвода, о котором упомянул Чистяков, – тот подорвался на первом же выезде. Как у любого нормального человека, екнуло у Епимахова что-то внутри при мысли, что впереди еще два года войны и может произойти все, что угодно, например на первых же боевых пулю из «бура» можно получить.

– Старая винтовка начала века, – рассказывал Чистяков. – Духи из «буров» за три километра в голову попадают. Винтовки от англичан остались.

Афганцы англичан в пух и прах разбили. Одну половину экспедиционного корпуса вырезали, вторая от гепатита скончалась...

Водка помогала перебарывать плохие предчувствия, и Епимахов как замороженный слушал дальше. Сильно нагрузили его – и рассказами, и спиртом.

Для него в этот вечер был только один настоящий герой, один истинный боевой офицер – старший лейтенант Чистяков, покидающий на днях Афган с боевым орденом.

Совсем иначе воспринимал рассказы друга Шарагин. Любил он Женьку, жалел, понимал и в то же время иногда побаивался, потому что с головой у Чистякова, что бы ни говорили, было не совсем все в порядке. Как и у многих, кто провел в Афгане весь срок и не в штабе просидел, а воевал по-настоящему и много.

Рассказывали, что Женька сильно переменялся за два года. Приехал он в Афган добровольно, по рапорту, так же, как и его брат Андрей.

...приехал, наверное, таким же наивным, как лейтенант Епимахов...

Веселей Чистякова во всем батальоне, а то и в полку офицера было не сыскать. Жил он легко, служил добросовестно, воевал грамотно, смело, лихо, отчаянно, так что на медаль представление пошло через несколько месяцев.

Комбат в Женьке души не чаял.

И вот однажды забрел Женька в гости к полковому особисту – они чуть ли не на одной улице в Союзе жили – и наткнулся на специально подобранные фотографии со «зверствами душманов». Держал их особист главным образом как пособие для бойцов. Раз такое увидишь – навсегда передумаешь шастать за пределы части, с афганцами на посту и на выезде торговать и на боевых дальше двадцати метров от позиций не отойдешь, за заставу шага не ступишь.

– Гляди, этот солдат, у которого звезда на спине вырезана, купаться с заставы отправился, – обычно вкрадчиво начинал особист, уведя бойца в отдельную комнату, а вскоре начинал вздрючку: – И с тобой то же самое будет, но сначала тебя духи всей бандой отпедарсят и жопу на фашистский знак разорвут! Тебя никогда в жопу не трахали? Нет? Хорошо, значит, не педераст. А духи из тебя сделают педераста! А потом яйца отрежут!

В первую очередь особист обрабатывал новеньких солдат, которые, по его данным, доведенные до отчаяния произволом в казарме, колебались – то ли бежать куда попало, то ли застрелиться или повеситься.

Страшал, совал под нос солдатам снимки особист:

– Этого хочешь, идиот?! Не отворачивайся! Гляди у меня!

Если солдат застрелился – это еще полбеды, это можно при желании замять, списать на неосторожное обращение с оружием или как-то по-иному объяснить. И вообще, в таком случае непосредственный командир пусть выворачивается. А если солдат от отчаяния в горы подался – с особого отдела спросят.

В дверь постучали.

– Наливай чайку. Варенье возьми. Домашнее. Я на минуту, – особист выскользнул в коридор.

Чистяков зачерпнул варенье ложкой, облизал. Вкусное! Малиновое. Прямо как мама готовит. Положил варенье в стакан, потянулся к полуоткрытой папке и, отпивая чай, равнодушно просматривал: вспоротые животы, кишки разбросаны, глаза, видимо, ножом выковыривали, член отрезанный изо рта торчит, как кляп, головы отчлененные. Ничего особенного. В Союзе ужаснулся бы Женька таким картинам, здесь же привычное дело – на войне всякого повидал.

– Э-э, дай-ка я уберу, – забеспокоился, вернувшись в комнату, особист. – Это для служебного пользо...

Не успел закончить фразу особист, остановился посреди комнаты, потому что земляка вдруг передернуло, побелел Женька. На одной из фотографий как будто узнал брата. При-

смотрелся к снимку. Он! Андрюха! Вернее сказать, голову отрезанную узнал, что лежала рядом с туловищем.

В спецназе служил Андрей Чистяков, в засаду их группа попала, никто не уцелел. Женька ездил на похороны брата в Союз, но все детали гибели выяснить не удалось. Темнили. О том, что вытворяли духи с ранеными, о том, как надругались они над трупами, скрыли. Духи не церемонились с пленными.

Кожу живьем содрали и на базаре, на солнцепеке, на всеобщее обозрение вывесили. Мучительно умирали ребята.

– И ты, падла, знал! Знал, что это мой брат! И бойцам фотки показывал как учебное пособие! Ну ты ублюдок! – заорал Женька.

Всполошился особист, потребовал немедленно фотографию вернуть, угрожал.

– Ах ты, тварь! Земляк, тоже мне, блядь! Все вы особисты твари последние! Не подходи! – замахнулся Женька стулом. Он зажал фотографию, потом запрятал в карман.

Разругались вдрызг, до драки дело дошло, и чуть не покалечил Женька особиста. Прямо взбесился:

– Только попробуй отобрать, сволочь, застрелю!

С тех пор как узнал про брата всю правду, и свихнулся Женька слегка, тронулся. Озверел, ушел в себя. И мстил, весь оставшийся срок службы мстил за брата, безжалостно расправлялся с духами.

...Родители опасались, что загремит Андрюха в тюрьму, все по молодости со шпаной крутился старший брат, в драки ввязывался, забияка, и настоящую эковскую финку носил, мечтая испробовать ее в деле, и наколки на руках сделал. Женька его боготворил.

А вот ведь настоящий офицер вышел из Андрюхи, лихой командир, и то, что забияка по натуре, помогло.

С пьянками завязал, увлекся спортом, поступил в Рязанское училище.

Нашел себя парень в военном деле.

Минные поля Андрюха не обходил, напрямик пересекал. Кайф от этого получал.

Караваны брал мастерски, без потерь выходил из самых что ни на есть безнадежных ситуаций. Духи, если верить слухам, за голову «командора Андрея» обещали сто тысяч афгани, а то и больше.

Неувязочка только вышла однажды. Что там на самом деле произошло, дело темное. Факт, что расвирипел один генерал, чуть под трибунал Андрея не отдал. «Подумаешь, духа одного недосчитались!» – возмущался Женька. И представление на досрочное звание Андрюхе отозвали, и долго он еще в опале пребывал. Генерал тот оказался злопамятным. Когда группа Андрея в засаду попала, его посмертно на Героя командир выдвигал, завернули наградной, получил Андрей всего лишь орден Красного Знамени.

Привезли Андрея домой в цинковом гробу без окошечка. Как в консервной банке. Ни открыть, ни заглянуть вовнутрь. Стоял гроб в квартире на столе, чужой, холодный; мать царапала в надрыве ногтями крышку, умоляла открыть; так и не поверила, что он мертв; жалобно стонала мать, уткнувшись щекой в единственный портрет-фотографию сына, сделанный сразу после выпуска из училища.

– Оставь, не ходи, – попросил отец. – Ей надо выплакаться.

У Женьки, как у собаки Павлова, выработался рефлекс на духов. Он распознавал их сразу, по крайней мере, так ему казалось, и сомнения всячески отвергал, а потом проверять было поздно и ни к чему; кончал чаще всего на месте, сразу после боя, в плен не брал; и никто не мог его остановить, даже Моргульцев. Ротный просто делал вид, что ничего не знает. Попробовал как-то Немиллов, которому кто-то из солдатиков донес, пригрозить прокуратурой, а после пожалел, испугался.

...Женька его предупредил: «Ты либо с нами, либо против нас...»

Однако при всей ненависти к афганцам бойцам Женька воли не давал, руки распускать и издеваться над пленными духами запрещал категорически, так же как не допускал у себя во взводе мародерства, за любое воровство, пусть самое незначительное, карал беспощадно.

Он один был и судьей, и мстителем, и палачом.

...и не погибни брат Женьки при столь трагичных обстоятельствах, не изуродуй его тело духи, не превратился бы Женька в кровожадного мстителя... это уж точно!..

Не пытались остановить Чистякова, потому как знали, отчего у него это все пошло, и понимали, что люто мстит он афганцам за брата, и сочувствовали.

...а кого не изменил Афган?..

Начиналось чаще всего с услышанного о жестокостях войны. Позднее наслаивались, нанизывались увесистые, сочные, как хорошее мясо на шампур, собственные испытания и впечатления. И, сам того не всегда ведая, человек все дальше и дальше отодвигался от привычных для Союза ценностей, норм, заражался здешней, временной афганской моралью, грубыми нравами.

...вернется Женька домой, и все изменится, забудется, останется позади, навсегда в прошлом... или я просто успокаиваю себя?..

Чтобы прервать наступившее в комнате молчание, как бы между прочим заговорил Женька Чистяков про последний рейд, подчеркнув, что прошел он удачно:

– ...в плане выполнения социалистических обязательств по сбору «ушей». Я, бля, целый мешочек привез. Они уже подсохли... Для подарков собираю: на веревочку нанизываю, как бусы. Хочешь тебе, бача, подарю? На счастье, бача! – искренне обратился Чистяков, впервые за вечер улыбнувшись, к заменщику и полез в боковой карман «хэбэ».

Лейтенант Епимахов ухмыльнулся, не сразу поняв о чем, собственно говоря, идет речь, и так остался сидеть с улыбкой на лице, верно, думая, что это розыгрыш такой придумали новые друзья. Когда же до него, наконец, через пьяную голову дошло, что предлагалось ему в качестве первого афганского сувенира, он побледнел, уставившись на развернутую тряпочку в руках Чистякова, где маленькой кучкой лежали коричнево-черные, скукоженные, как чернослив, человеческие уши.

– На, бача, они не кусаются, – совал уши Женька Чистяков.

– ?..

– Убери! – рассердился Шарагин. – Сейчас блеванет и стол загадит... Достал ты всех этими ушами...

Женька как будто и не обиделся даже: хмыкнул, пожал плечами, сворачивая тряпочку, запрятал ее обратно в карман.

* * *

Чистяков улетел в Союз. Распрощались с дембелями. Приняли пополнение. И рота прямо-таки обеднела, притихла, сделалась серой. Понуро, затравленно шатались по казарме новички, наводя на Шарагина тоску. Он присматривался к их сонным, мало что выражающим ромам, не припоминая сразу имена, фамилии, различая пополнение по курносости, по веснушкам, по оттопыренным ушам, недовольно косился на стесненные движения, раздражался неуверенностью молодых в обращении с оружием и техникой, но обнаруживал, хотя и редко, у отдельных новичков едва намечающуюся хваткость.

Постепенно он составил представление о пополнении. Кого-то, между делом, расспросил о жизни до призыва и о родных, о ком-то узнал из личных дел; много-много малень-

ких, казалось бы, незначительных, мало что значащих деталей обнаружил, обдумал, взял на заметку.

Глава 5. Епимахов

В первый вечер Шарагин не разглядел, что лейтенант Епимахов относился к числу тех людей, поговорив с которыми накоротке, наполняешься сочувствием и отчасти даже жалостливой тревогой. Уловил Шарагин в Епимахове за его неистребимым не то юношеским, не то совсем детским интересом к войне и азартом какую-то отдаленную, еще не разыгравшуюся трагедию.

Новый взводный оказался не по-армейски начитан и образован. Кость – армейская, вэдэвэшная, а сердце – мечтателя.

Увидев как-то по прошествии нескольких недель Епимахова в роли ответственного по роте, Шарагин усмехнулся:

– Такой массивный череп зажимать ремнями и портупеей – преступление! Пойдем, Николай, подышим свежим воздухом. Хорошо учился? – как бы невзначай поинтересовался, прикуривая, Шарагин.

– Да неплохо вроде бы, – скромничал Епимахов.

– Все помнишь?

– Все...

– Ну так вот – забудь всю эту ахинею!

Из Епимахова ученик получился послушный, внимательный и благодарный; он впитывал советы жадно, как промокашка, и с вопросами не стеснялся больше: а что в такой ситуации обычно делают? а если так выйдет? Во все вникал до мелочей.

Только тянуло его больше говорить на другие темы. Как мальчишка (да мальчишкой он, по сути дела, и был – солдатам старослужащим почти ровесник!) заглатывал Епимахов все услышанное и тут и там о войне, все героическое и трагическое; о войне, что жила совсем близко, где-то за оградой части, и все видели ее много раз, все, кроме него.

Не терпелось, как водится новичку, Епимахову испытать, проверить себя в бою, под огнем, и награды, пожалуй что, мерещились, подвиги разные.

А в глазах, в этих голубых глазах и в не пораженном пока войной взгляде читался не высказанный Шарагину вопрос, почти по теме, но не совсем: «А ты сам много убивал? А что при этом чувствовал?»

Мелькал вопрос тот, да и нырял обратно – не решался лейтенант Епимахов вот так напрямую, в лоб спрашивать о подобных вещах, хоть и друзьями они уже заделались.

У Женьки Чистякова и спрашивать не надо было: убивал – не убивал?

Возьми пересчитай ушки, а Шарагин – другой. Умел слушать внимательно, любил читать, если на то было время. Только он оценил привезенные Епимаховым книги. А остальные до сих пор смеются и будут смеяться до конца его, Епимахова, службы в полку.

– Что это у вас такое тяжелое, товарищ лейтенант? – со свойственным прапорщикам отретпетированным уважением по отношению к офицерским погонам, с плохо скрываемой надеждой в голосе от предвкушения халявы интересовался при знакомстве старший прапорщик Пашков, приподнимая и опуская чемодан новичка. – Пивка, наверное, захватили? Умираю, хочу пивка!

– Не-а.

– Колбаса? Сало? – гадал уже немного разочаровавшийся, но все же надеявшийся на чудо старшина.

– Нет. Вещи разные, а в основном – книги, журналы.

– Че-во? – не поверил ушам старший прапорщик Пашков. – Книги сюда тащили? Ты че, очумел? – не сдержался от неожиданного поворота Пашков и перешел на «ты». – Зачем они тебе?

Отчасти обидно где-то было новоиспеченному лейтенанту, что в таком тоне говорит с ним, офицером, прапорщик, но возраст Пашкова и тот факт, что прослужил он здесь в Афгане дольше, не позволяли Епимахову сердиться. К тому же они были в комнате одни.

Епимахов постарался представить его просто добрым и глупым, почти вдвое старше себя, мужиком, к тому же Пашков действительно таким и был в жизни, и с первых минут это читалось на лице, пусть он и напускал на себя важность.

– Читать. Я так подсчитал, что на первый год хватит. Есть, кстати, очень интересные, детектив есть один... Потом достану, покажу.

– Дожили... На войну книги привозить стали. Ты только никому не говори об этом.

– О чем?

– Что книги тащил через границу.

– Почему никому не говорить? – спросил Епимахов.

– Не поймут...

Понять мог только Шарагин. В этом Епимахов убедился сразу. Иным он был, не как остальные офицеры. Только с бойцами напускал строгость, а так – дружелюбен, открыт, негруб, и циничность – чисто напускная. Да и кто бы еще стал с новичком разговаривать по душам:

– Ты думаешь, что сразу лицом к лицу с ними столкнешься? Не завидую тебе, если это будет так, если в глаза им живые придется заглянуть. Заглянешь – значит, слишком близко подошел. Вряд ли потом кому пересказывать придется. Лучше уж мертвых духов после боя рассматривать... И не думай, никогда не думай, что хитрей их. Духи за тобой весь день могут наблюдать из укрытий, а как найдут слабинку, самое уязвимое место, так засадят туда. И вот еще... Не стесняйся быть дотошным и въедливым с бойцами. Не сюсюкайся – на шею сядут. Если не можешь строгостью держать – бей! Мордобой на войне – хороший воспитательный прием, профилактика против потерь. Видишь, что оборзели «слоны», – мочи их! Чтoб не разбаловались и вольничать не привыкли после Чистякова. За этими хануриками, знаешь, глаз да глаз нужен! Следи, чтоб бензин не сливали духам, чтоб броники не снимали на выезде. Сдохнет от пули – сам потащишь! У Женьки они как по струнке ходили. И сберег их Женька. Теперь благодарны, что мочил их каждый день, живы остались...

– Но ты ведь не бьешь их, как Чистяков... – подловил Епимахов.

– Вот прослужишь здесь с полгода, тогда решай: либо по печени солдата бить, либо на «вы» называть... Я, кстати, ты меня просто не видел на боевых, но я, если надо будет, могу похлеще Женьки двинуть. Если за дело... Ты давай-ка загляни, – Шарагин кивнул на модуль, – все ли там в порядке, и пошли на обед. Есть хочется.

– А когда, Олег, как ты думаешь, в город удастся поехать? – уже в столовой спросил Епимахов.

– Без году неделя, а уже в город рвется, – с ноткой высокомерия сказал Немилов.

– Интересно ж посмотреть...

– Чеков-то накопи сперва, – посоветовал через стол Зебрев.

– Все в свое время... – подмигнул Шарагин.

Хлебая из пластиковой тарелки суп, вспоминал Шарагин свой первый выезд в город – нелегальный. Тогда вместе с Иваном Зебревым, который собирался в отпуск и которому кровь из носа надо было закупиться, отправились они на свой страх и риск по дуканам. Дело в том, что, на их беду, вышел приказ и в город вообще никого не пускали по соображениям безопасности. Только с письменного разрешения начальника штаба армии дозволяли выезд.

Переоделись они «в гражданку». Договорились за литровую бутылку «Столичной», чтобы вывезли их мужики на бронетранспортере из полка, а всю дорогу переживали, что случится какое построение, тревога и в полку заметят отсутствие. Замполит Немилов опять же мог настучать. Прятались от патрулей.

Шарагин просто обомлел, когда первый раз вошел в лавку и увидел изобилие импортных шмоток: джинсы, материал любой на платья, обувь, складные солнцезащитные очки, часы кварцевые, зажигалки всякие, и так обидно стало вдруг за Лену и Настюшу, что сидят они там в Союзе и ничего подобного никогда в своей жизни не увидят.

Как же потом отчитывал их Моргульцев! Словно пацанов! Чуть не лопнул от негодования ротный, узнав, что надули его лейтенанты, кричал и кричал, минут двадцать кричал, весь красный стал, как сваренный рак, и вынес приговор:

– Объявляю строгий выговор с занесением внутрь!

Это означало, что ротному надо поставить пол-литра, чтобы он нервы в порядок привел.

– Пошли? – поднялся из-за стола Епимахов. Перебил Шарагина воспоминания.

– Иди-иди! Я чайку попью...

Почти все пообедали. Шарагин сидел в пустом зале. Лениво смахивал крошки хлеба со столов солдатик, у кухни ворковали две официантки. Боец без ремня мыл пол. Олег макал кусочки сахара в стакан чая, обсасывал их, держа двумя пальцами.

В тот день, когда провернули вылазку по лавкам, он был несказанно счастлив. Вместе с Зебревым он отправлял в Союз, домой, первые подарки для Лены и Настюши, дополнив их безделушками – музыкальной открыткой и баночкой чая...

...с бергамотовым маслом... не какой-нибудь там грузинский и даже не индийский с тремя слонами!.. вот обрадуются!..

Зебрев не поленился, заехал с посылкой к Шарагиным, посидел, рассказал, что живут они и служат хорошо, успокоил Лену, что опасности почти никакой, изредка только столкновения происходят на границе где-то, но это вдали от расположения полка. «Жена у тебя, – признался Зебрев, – необычная, грим-грим. Скромная бабенка, робкая. Мне б такую. Я ей бакшиши-то из сумки вынул, а она пакет даже не раскрывает. Отложила на диван. Еле уговорил посмотреть...»

Шарагин прихватил банку кабачковой икры, поблагодарил куривших за столиком в углу официанток и пошел в роту.

Моргульцев выглядел недовольным, с ходу выпалил:

– Собирайся! Завтра на выезд.

– Опять? Куда?

– А хер его знает! Из политотдела звонили. Там у них какой-то то ли продотряд, то ли музотряд, то ли агит-отряд. Тыфу ты! Не понял я толком, не спрашивай! Не нервируй меня, Шарагин! Я сегодня в плохом настроении, сразу предупреждаю!.. Чего стоишь?

– Жду более детальных указаний.

– Уши прочиствь, Шарагин, я сказал: завтра на выезд!

– Так точно, куда едем-то?

– Откуда я знаю?! Бляха-муха... Значит, так, задача простая. Нужна, видите ли, рота охраны в сопровождение, чтоб, понимаешь, по кишлакам кататься, духов на балалайке учить играть!

– Серьезно?

– Ну откуда я на хер знаю?! Машины разваливаются, запчастей нет, списывать пора, не то что по кишлакам с самодеятельностью разъезжать! Я им говорю: «Не готова рота к выезду!» А мне: «Приказ, бля, выполняй!» Короче! Бляха-муха! Завтра в четыре ноль-ноль выходим...

Глава 6. Агитотряд

Десантная рота с грохотом ползла через еще не проснувшийся Кабул, словно в отместку за собственный недосып хотела разбудить ненавистных афганцев. БМП скрежегали по асфальту гусеницами, гудели мощные двигатели, рыскали фары-искатели, высвечивая в темноте каменные заборы и редких в столь ранний час людишек. И только когда рота пересекла весь город, начали просыпаться муллы. С минарета через репродуктор разнесся пронзительный крик: «Аллах акбар!»

Загадочный агитотряд дожидались больше трех часов на северном выезде из города, перед последним контрольным пунктом армейской дорожной комендатуры.

Моргульцев бранился, связывался со штабом, выяснял, куда запропастились «артисты». Солдатня дремала.

– Бардак! Бляха-муха!

Рассвело. Проснулись ночевавшие на площадке перед КПП комендачей водители, умылись, чистили зубы, завтракали, наконец, их колонна грузовиков под прикрытием бронетранспортеров тронулась в сторону Саланга.

Так происходила временная смена власти в Афганистане. С утра до вечера на дорогах хозяйничали советские, с наступлением сумерек – правили духи, и любое передвижение по трассе прекращалось.

Лейтенант Епимахов сидел, не расставаясь с автоматом, на башне БМП в шлемофоне, в новом бушлате, серьезный и сосредоточенный.

...пусть прокатится на экскурсию, поторчим пару дней на воздухе – и в полк...

Наконец прибыл агитотряд. Офицеры и механики-водители, те, у которых имелись, надели очки, мотоциклетные и горнолыжные, чтобы пыль не слепила глаза. Шарагин кивнул приятелю. Епимахов в ответ поднял большой палец, мол, полный ажур!

Рота перестраивала боевой порядок, пропуская между бронемашинами грузовики.

Поднялись на пригорок. И дыхание перехватило: развернулась перед ними красивейшая долина, разрезанная пополам вьющейся бетонной дорогой, а в глубине долины, затерянные в «зеленке», и особенно по краям, приклеенные к горным уступам, как грибы на пеньке, собрались один к другому афганские домишки, образуя кишлячки.

– Я ноль-третий, я ноль-третий! Как слышите меня? Прием! – раздался в шлемофонах голос Зебрева.

– Я ноль-первый, слышу хорошо! Прием! – ответил Моргульцев.

– Ниточка движется нормально, – переговаривался с ротным Зебрев. Его машины шли последними – в замыкании.

Если бы не опасность, занятное дело наблюдать, как вьется по бетонке колонна: бронемашины – следом несколько «КамАЗов» – бронетранспортер агитотрядовский – «уазик» с красным крестом – БТР – бензовоз – БМП – «ЗиЛ» – снова броня – парочка «Уралов» – БРДМ со звуковещательной станцией – еще «КамАЗы» – и еще одна боевая машины пехоты – в замке.

– Внимание влево! – басил в эфире Моргульцев. И стволы БМП развернули влево. Замелькал разрушенный артиллерией кишлак, что означало «будь начеку!». Навстречу двигались афганские пассажирские автобусы и грузовики.

Колонна миновала выстроенные вдоль дороги советские и афганские заставы, подбитую когда-то военную технику, ржавеющую на обочинах, одинокие памятники погибшим советским солдатам.

Добрались до уездного центра, постояли, пока согласовывали предстоящую работу с афганцами. Епимахов отвечал афганцам доброй улыбкой, кивал выклянчивающим мальчишкам.

– Не стоит принимать звериный оскал за дружескую улыбку! – предупредил проходивший мимо ротный.

– Да что вы! Это же дети!

– Сукины дети! – уточнил Моргульцев.

Несколько афганцев в военной форме, но без оружия забрались на первую БМП – показывать дорогу к кишлаку. Селение выбрали, как нарочно, подальше от дороги. Тревожно было забираться в такую даль. Переглядывались офицеры и солдаты – не западня ли?

– Надо было сперва блоки выставить, а потом уж лезть в эту дыру! – бубнил Моргульцев.

В кишлаке рота расплзлась, заняв оборонительные позиции. Прижались к дувалам боевые машины пехоты, затаились.

– Они глупостями занимаются, а мы их прикрывай! – негодовал ротный. – Без саперов полезли по проселочной дороге!

Одного Епимахова, не понимавшего пока всей опасности затеи с посещением отдаленного кишлака, не нюхавшего пороха, не знавшего коварности афганцев, воодушевляла ура-пропагандистская акция агитотряда. Охватила лейтеху революционная эйфория. Офицеры агитотряда, и те озабоченно поглядывали на холмы, на мелькавших в толпе афганцев вооруженных людей.

– Это кто с автоматом и четками? – наконец-то забеспокоился Епимахов. – Это не душман?

Нахохлившийся, как воробей, переводчик агитотряда, щуплый узбек, прищурился:

– Ты это слово не употребляй. Это значит враг. А этот, – он кивнул на афганца, – из отряда самообороны.

– А-а...

– Недавно приехал?

– Ага... Николай. – Епимахов протянул переводчику-узбеку руку.

– Тулкун. – Рука у узбека была маленькая, безвольная.

– Слушай, Тулкун, ты не мог бы мне подсказать несколько фраз, а то так хочется что-нибудь сказать афганцам?!

– Какие фразы? – Узбек насторожился, прищурился.

– Ну, например: «Как дела?», «Все ли в порядке?»

– Афганцы обычно говорят: «Джурасти, четурасти?»

Епимахов записал в книжечку. Повторил вслух. Афганец с автоматом, из отряда самообороны, заулыбался.

– Джурасти, четурасти, хер расти до старости, прилетят верталетасти, будет всем ... издец! – передразнил прапорщик Пашков.

– Я тебе советую, – сказал узбек, когда Пашков ушел, – выучить несколько сур из Корана.

– Зачем?

– Всегда может пригодиться.

Епимахов записал под диктовку переводчика длинное предложение:

– А что это значит?

– Это значит, что нет бога, кроме Аллаха, и Мохаммад – его пророк. – Переводчик взял Епимахова за руку, понизил голос: – Если вдруг попадешь в плен, повторяй эту фразу, духи тебя не убьют... Извини, мне надо помочь доктору. Потом скажу.

«В плен? – опешил Епимахов. – Я не собираюсь попадать в плен к бандитам! И о пощаде, как этот узбек, просить не стану!..»

Непривычно ощущал себя Шарагин, участвуя в благотворительной акции агитотряда. Сидел он на нагретой солнцем броне, курил, наблюдал за холмами, за бородатými афганцами с оружием, за действиями агитотряда.

...правильно Моргульцев говорит: «...хороший афганец – мертвый афганец»... в Афгане все кишлачки стремные... с этими бородатými шутки плохи... отвернешься – нож в спину воткнут за милое дело...

...вот так вот мы и профуфукали Афган! Вместо того чтобы БШУ нанести, они с ними сюсюкаются, думают, что за мешок зерна афганцы в друзей превратятся!..

Как бы не так! Разбежались!..

Воевать привык он против афганцев, а не в гости по кишлакам ездить, с бачами якшаться. А тут:

...доктор Айболит в белом халате их осматривает, умора! хорошо хоть бойца с автоматом рядом поставил охранять, от этих обезьян что угодно можно ожидать, говорят: кишлак поддерживает народную власть, да хер он вам поддерживает!.. просто мужики все в горы ушли или в Пакистане в лагерях мины ставить учатся, что же им еще делать? работы никакой, пахать и сеять разучились! а вернутся мужики – так кишлак вновь духовским станет... дед весь в язвах каких-то к доктору Айболиту протискивается, к столику с лекарствами... у нас таких из больницы не выпускают, в лепрозорий тебя надо отправить, дед, а ты каждый день, конечно же, в поле еще вкалываешь...

Айболит ватку в раствор бульк, по коже деду раз-раз, не боится заразу подцепить Айболит, иди, говорит через переводчика, иди, дед, следующий... дехкане, слово какое! вроде нашего: рабочие и крестьяне! дех-ка-не! потянулись труженики афганского села из домов, поверили, что их вот так одним мазком, одной таблеткой от всех сразу недугов излечат! блажен, кто верует! младший лейтенант-переводчик только и успевает врачу с ихнего разъяснять: гепатит, язва, давление, понос, триппер... а медсестра агитотрядовская, ох! вот девка что надо! ради такой готов и неделю в кишлаки ездить... женицин афганских осматривает... под задранную паранджу стетоскопом нырк... там, небось, грязи-то! с рождения не мылась... лица не видать... страшна, наверное, как сто китайцев страшна... медсестра ей сердечко слушает: тук-тук, тук-тук, и не догадаешься сразу, сколько ей лет – двадцать пять или шестьдесят пять – у всех руки одинаково до черствости высохшие, а остальное под балахоном скрыто... эх, медсестричка, лучше бы ты мое сердце послушала!.. а у грузовика дележка идет, мешки с зерном уходят за просто так, калоши дармовые расхватывают духи... у нас у самих страна не вся обута, без дорог который век живем! грязь везде, в любом городе, лучше б нашим, советским гражданам, бесплатно калоши раздавали: на-те, это вам заместо асфальта!.. а бабаи-то в драку полезли, толкаются, как их там называют? саксаулы? аксакалы! старейшины! как петухи дерутся, им дай волю – такую драку устроят! зерно выдают мешками, халява!.. кино запустили... на кой хрен этим папуасам кино показывать?! фильм-то тем более советский, художественный... «Анна Каренина», что ли? с переводом, правда, но разве поймут бачи, что там на экране делается!.. одну часть показали и сворачивают кино... поагитировали...

...а у бээрдэма, что надрывается бабайскими песнями через громкоговоритель, листовки разбрасывают... ну зачем, зачем, скажите вы мне, этим бабаям листовки? да они же все подряд неграмотные! они даже подтираться бумагой не научились!

...лейтенант, который Айболиту помогал, теперь беседует со старейшинами... вы им, бля, еще под баян спойте, хороводом походите, может, тогда они нам хоть в спину стрелять не станут, когда будем выбираться из этого кишлака! накроют нас здесь с этим агитотрядом!..

– Наконец-то закончился балаган! – обрадовался Моргульцев.

Поползли обратно на основную дорогу, оттуда – в уездный центр.

Командование агитотряда с местными афганскими активистами ушли совещаться в одноэтажные казармы.

...да жрать, наверное, плов пошли... а мы – сиди и жди вроде бедных родственников...

Наглые, назойливые бачи, как мухи навозные, зашныряли возле машин.

Отдельные по-русски шпарили будь здоров, в основном – матом. Вьются бачи, суют, суют всякую мелочь; двое барахлом торгуют, а четверо зыркают, что бы спереть.

...проморгаешь, всю БМП по деталям за пять минут растащат...

...бача-то сам ростом ниже колеса БТРа, а готов это колесо на спине унести...

– Я тебе щас такой бакшиш покажу! – заорал рядовой Чириков и затряс гранатой.

...а бачи не боятся, не уходят, знают, что здесь в них никто стрелять не станет...

Через дорогу, напротив от машин Шарагина, остановился красно-белый рейсовый пассажирский автобус. Вскоре он двинулся дальше, оставив стоять старика-афганца, на спине которого, обхватив руками за плечи, сидела девочка лет четырех-пяти. Медленно сгибая трясущиеся колени, старик положил девочку, встал, растерянно оглядываясь. Справа, особняком, сидели за чаем индусы-дуканщики, слева сошлись бородачи с автоматами, долго приветствовали друг друга, лобызались, прикладывались щеками.

...то ли духи договорные, что перемирие выдерживают, то ли так называемые народные ополченцы, в сущности, тоже духи, только сегодня за кабульский режим, а завтра – против...

Нерешительно, по-холопски пригибаясь, съезжившись, подошел старик к дуканщикам, постоял над ними, проямлил что-то, указывая рукой на девочку.

Дуканщики окинули его презрительными взглядами, пожали плечами. Индусы и думать о нем забыли, а старик не уходил, топтался на месте, крутил головой, наконец, остановил прохожего. И тому было некогда выслушивать.

...девчонка хворая совсем... или спать хочет... Настюшка, что там, интересно, моя Настюшка сейчас делает?..

И он представил, как его родимая дочурка бежит по травке в беленьких трусиках, порхают бабочки, а Лена лежит на одеяле с книжкой, греется на солнышке...

Шарагин наблюдал за растерянно стоящим стариком, который то и дело исчезал из виду, когда по дороге проезжала машина и загораживала его.

Афганец топтался на месте, поглядывал на девочку, которая как-то странно завалилась на бок, на дуканщиков.

...а что, если бы это была моя Настюша?..

– Герасимов!

– Я!

– Ну-ка, сбегайте, товарищ солдат, приведите-ка мне переводчика из агитотряда. Не узбека только, а русский там – младший лейтенант. Пусть узнает у деда... Какого? Вон переходит дорогу! Пусть узнает, что стряслось с девочкой его! Все понятно? Бегом! Саватеев, Сычев, за мной. – И Епимахову, который у БМП стоял: – Присмотри-ка за хозяйством.

Спроси кто Шарагина, что это вдруг затронули его проблемы дряхлого афганца, не ответил бы. Просто, видимо, на тот конкретный момент ничто другое не занимало лейтенанта, и еще показалось ему, что девочка плачет.

Сбивчиво, многочисленными жестами, по-мужицки бестолково объяснялся афганец.

– У него внучка ранена. Пуля в плечо попала. Врач нужен, – переводил младший лейтенант.

Солдаты перенесли девочку через дорогу, положили на траве.

– Чириков!

– Я!

– Ищите врача!

– Есть!

Шарагин повернулся к переводчику, словно оправдывался:

– Я-то думал, может быть, ее в автобусе укачало. Потом вижу, она на бок завалилась...

Посланный солдат вернулся без врача.

– Где Айболит?! – недовольным голосом спросил Шарагин.

– Он там, товарищ лейтенант, с афганцами обедает... Говорит, скоро придет...

Набежали любопытные афганцы, человек тридцать, толкались, карабкались на плечи друг другу.

– Разогнать! – приказал Шарагин.

Рядовой Бурков направил на афганцев автомат, передернул затвор.

Мальчишки отскочили, но не испугались. Дразнили советского солдата.

Девочка сидела и тихо плакала. Явившийся наконец врач поднял разорванный рукав, осмотрел наспех перебинтованную несвежими тряпками серую от грязи тонкую детскую руку с запекшимися пятнами крови.

Очевидно, пуля на излете вошла в плечо и застряла где-то под лопаткой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.